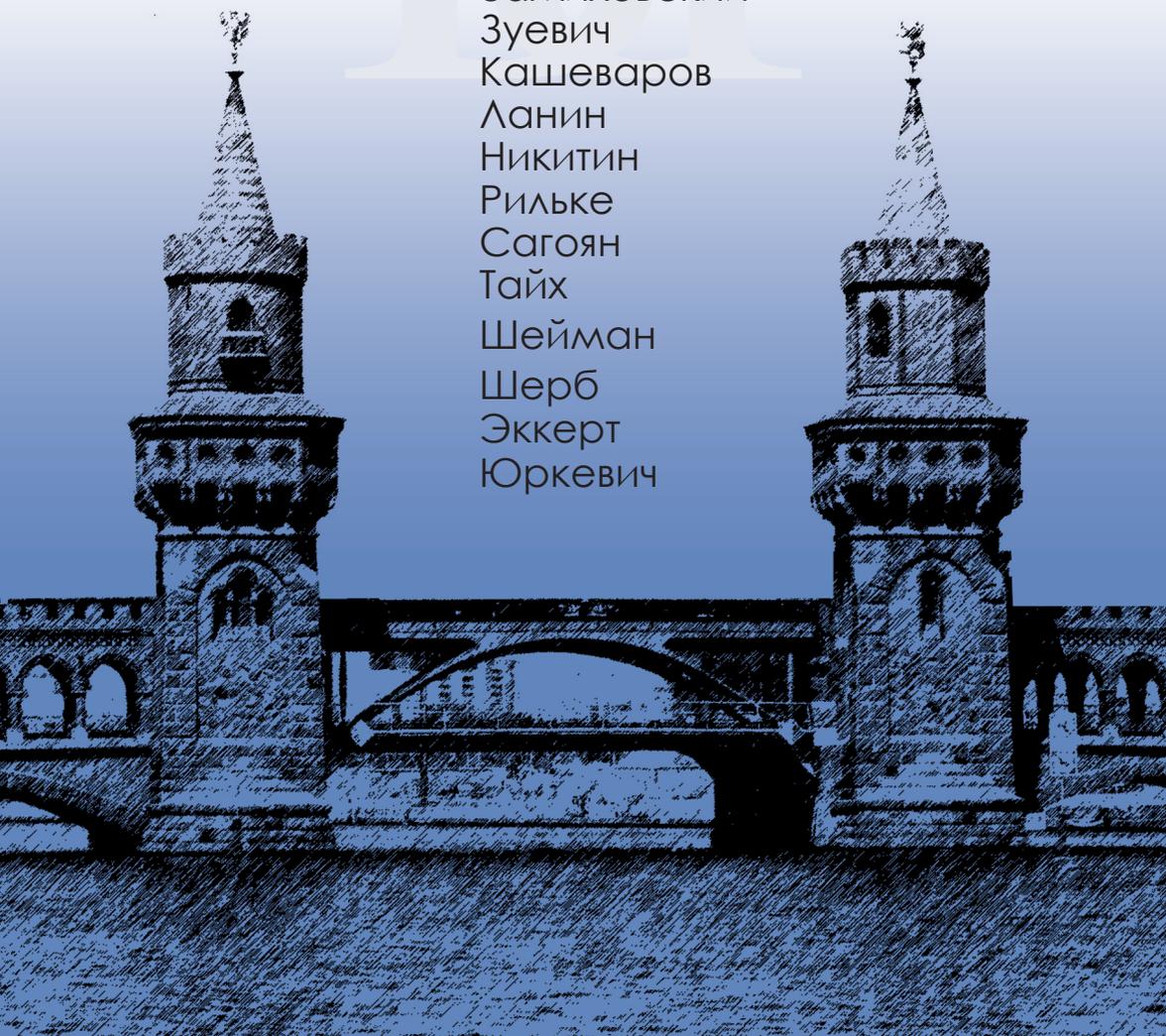


Приложение к журналу

# БЕРЛИН. ДЕРЕГА

зима / 2018

Аросев  
Бронштейн  
Брык  
Замиховский  
Зуевич  
Кашеваров  
Ланин  
Никитин  
Рильке  
Сагоян  
Тайх  
Шейман  
Шерб  
Эккерт  
Юркевич



# Содержание

АНАСТАСИЯ ЮРКЕВИЧ, „Снег“, стихи .....	3
АЛЕКСАНДЕР ЛАНИН, „Слово Икара“, стихи .....	10
ЕВГЕНИЙ НИКИТИН, Немецкие рассказы .....	18
АНАИТ САГОЯН, „Киты за кухонным окном“, фрагмент из романа „Мосты горят“ .....	37
ГРИГОРИЙ АРОСЕВ, „Командировка в Дублин“, рассказ...	47
АЛЁНА ТАЙХ, „Новый узор на денёк“, стихи.....	50
МИХАЭЛЬ ШЕРБ, „В саду идей“, стихи .....	55
ЮЛИЯ БРЫК, „Моё имя в тисках“, стихи.....	63
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ, стихотворение „Осень“ в переводе Анатолия Замиховского .....	65
МАКСИМ КАШЕВАРОВ, „Хроника притяжения“, рассказ.....	66
ДАРЬЯ ЭККЕРТ, „Диалог“, рассказ.....	75
ЮРИЙ ШЕЙМАН, „Тарарбумбия“, эссе о Чехове.....	79
ИРИНА ЗУЕВИЧ, „Вот снова Рейн“, стихи .....	83
БОРИС БРОНШТЕЙН, „За гранью бытия“, стихи.....	87

---

Анастасия Юркевич

## Снег

Стихи 2005-2006 годов

\*\*\*

...снег. словно потерянный, слепой март  
туго наслаивает, забивает сонной прохладой  
тёплую лепнину: плотничает, сучает. шофёры  
такси сегодня отчего-то все – женщины, и группа  
китайцев, только что вышедшая из отопленного  
помещения, вся сплошь в чёрном,  
ловит на теплый фетр тrefы маленьких,  
последних в этом году  
снежинок...

*Зальцбург, март 2005*

\*\*\*

Не заработали на тамаду да шафера,  
Не накопили даже дурных привычек,  
Жизнь, разбазарив по мелочи все метафоры,  
Словно прямая речь, лишена кавычек.

Что на сегодня? Чужая земля исхожена,  
Шибко нерадостны вести из-за кордона,  
И облака под крылом самолёта похожи на  
Переплетение змей у ног Лаокоона.

Вот, возвращаясь с тобой из музея Пушкина,  
Мама в метро говорит: «Погоди немножко...»  
Из разноцветных кубов – сколько на жизнь отпущено –  
Пятачки сыпаются прямо тебе в ладошку.

*Рим-Женева, март 2005*

## Вавилон

Ж.К.

Мне снилось сегодня, что ты живёшь в Вавилонской Башне, шаткой такой и длинной, из темно-красного кирпича, в серое небо ушедшей значительно выше вчерашней Брейгелевой. Где-то вверху, глазу невидимые, крича и ругаясь, строители явно не их последних и явно вошедшие в раж, насколько не думая об объёме, вкручивали, наподобье смерча,

узкое здание птопором между землей и фабричной сажей – так высоко, что птицы, с криком недобрым вокруг кружа без всякой видимой цели, не достигали даже самого что ни на есть безобидного, вполне еще нижнего этажа (в их перспективе нарочитая индустриальность сего пейзажа напоминала менее Брейгеля, более Dublin). Внизу, дрожа

мудрецы воробьиною стайкой корпели над эсперанто или другою какой волапокскою вязью, мнимой надеждой полные, не щадя живота и таланта – впрочем, судя по опыту, определенно все; засим и пусть, дураки, корпеют над юркою своею правдой: нам-то что? – вот уж воистину, эх куда тебя занесло, любимый...

А мы-то всё думали – отчего нам понять друг друга сложно? Мне чудится – там, в вышине, ты стоишь у окна, рукой беззвучные чертишь знаки, из всех языков, возможно, дотоле тебе известных, навек позабыв любой, и мне никак не понять – то ли подняться можно, то ли, напротив, не стоит, то ли вообще другой

знак какой-то... Но скорее всего ты, правда, вовсе меня не видя, рассеянно смотришь вниз (что бесполезно, впрочем: с такой-то выси не только лиц, но и вообще чего-либо не различить, кроме, разве что, падекатра снежинок в вечерней сини), строишь планы на завтра, и, чуть шевеля губами, машинально считаешь птиц.

*Зальцбург, январь 2006*

## Шалтай-Болтай

На Коломенском пригорке  
Ледяные стынут горки.  
В сером небе – белый дым.  
День, прочитанный от корки  
И до корки, сдан на тройки.  
Крест топорщится, над ним

(Ты смеёшься, а напрасно),  
Верь не верь, сегодня ясно  
Очертания видны:  
Безобразна, несуразна  
Глупь сидит, яйцеобразна  
Ножки свесив со стены.

Вспомни плотные страницы,  
Санки, свинку, вереницу  
Букв лиловых и тетрадь  
С недоученной таблицей,  
И поймёшь – тебе не снится,  
Но зачем он здесь опять?  
Ну чего ему не спится?

Распластавшись по-паучьи,  
Город сытых и везучих  
Сеть мерцающих огней  
Оплетает; в небе сучья  
Все черней, звезда – падучей,  
Он – все выше и видней.

Ночь хитра, и звезды звонки,  
Их лучи остры и тонки,  
Он не слышал, он не знал...  
Сыплет что-то из солонки,  
Вверх ногами в лапках тонких  
Замусоленный журнал.

Он бы слез, но королевской  
Не видать ни тут, ни там.  
Он попробовал бы сам,  
Но подвязан к ниткам, к лескам,  
Да и как по перелескам,  
По Рублевским этим фрескам,  
По болотам, по лесам?

И какая к чёрту рать  
Его будет собирать?

Ну уж нет! Уж лучше – ребус:  
«Береста, полоний, plebus»...  
Глаз наставил на луну,  
И не смотрит в глубину.  
А под ним ночной троллейбус,  
Словно сом идет по дну.

А под ним смурно и гулко,  
Точно кто-то вынул втулку,  
Сквозь мерцающий неон  
Проступают переулки,  
Лезет Молох из шкатулки –  
Хам, Холоп, Хамелеон.

Выплывают расписные  
Сны бесстыжие земные,  
Расцвелся небосвод.  
Ох и кони-то стальные,  
Ох и девки-то шальные,  
Удивляется народ,  
Жизнь горит и дым идёт.

Жизнь горит и дым идёт,  
Небо мутно и бездонно,  
Скучно нищим да бездомным –  
Время новое грядёт.  
И качает монотонно  
Телом новым, многотонным,  
Пухнет, стынет и растёт  
Идол глупый, толстый сидень –

Не уверить, не унять.  
До того он очевиден,  
Так он страшен, так он виден,  
Стоит голову поднять.

«Упадёшь!» – но он не слышит,  
Лишь качает головой.

А над ним, гораздо выше,  
А над ним живет и дышит  
На мосты, на сны, на крыши  
Бог всеобщий и живой.  
*Москва, январь 2006*

\*\*\*

*И.И.*

Город стынет, немеют руки,  
Все равно придется назад.  
Ворот поднял, и в сторону взгляд:  
Так друзья после долгой разлуки  
Меж собою без слов говорят.

Ветер-нерв присоседиться силится,  
То притихнет, то в сторону кинется –  
Хорошо бы погреться зайти.  
Но бордели все да гостиницы  
Попадают на пути.

Наплевать, с нас с тобою станется,  
В самом деле – чего беречь?  
Что останется, то останется,  
Лишь портье безразлично оглянется  
На чужую странную речь.

Пыль на плюшевых подлокотниках.  
Ночь играет: свела – развела.  
Ни себе, ни судьбе не собственники,  
Когда души – суть – родственники,  
Только больше мешают тела.  
А в углу, в темноте, в виде общества,  
Неурочный забывшее час,  
Неподвижно сидит одиночество  
И внимательно смотрит на нас.

*Женева, ноябрь 2004*

### Псу в метро

Положи печаль на лапы,  
Посидим с тобой вдвоём.  
Кто кайлом, кто тихой сапой,  
Пусть своё берут нахрапом  
Те, кто знают, что по чём.

Неглубоко под землею  
Помолчим и переждём:  
Больно ветры шибко воют  
Над сегодняшней Москвою,  
Бьют то снегом, то дождём.

На последний не успевший,  
Рядом грязный имярек  
Мутным взглядом снизу-вверх  
Из-под Вневых под век  
Мерит кафель запотевший.

Если вычленишь живое  
Из подземной маеты,  
Здесь живого – мы с тобою,  
Здесь живого – только двое:  
Ты да я, да я да ты.

---

Всё, что мы с тобой имели,  
Словно шука от Емели –  
Юрк! – в подземный переход.  
Видишь, там, в конце туннеля  
Вместо света слово «Вход»?

Что ж, приятель бессловесный,  
Подымайся – и за мной!  
Всё, что снег накуролесил  
Над бессмысленной страной,  
Всё, что вьюгой затяжной  
Он упрятал и завесил  
Мы оставим – ты да я.

Выйдем. Тает. Ночь двоя,  
Смерть гудит тугим контральто.  
Средь чужого бытия  
Отразится жизнь твоя,  
А за нею жизнь моя,  
В чёрном зеркале асфальта.

*Москва, зима 2005*

Александр Ланин

## Слово Икара

### Когда началась очередная война...

Когда началась очередная война  
И сепарские танки вступили в Припять,  
Ко мне подошли четыре седых слона  
И предложили выпить.

Я катал их спирт на панцире языка,  
Сжигая слова, как ненужную переправу.  
И левую руку выкручивала рука  
Моя же, но только правая.

Зачем земле из-за двух непривычных букв  
Подставляться слоновьим стопам?  
Я спросил у ясеня, а он оказался „Бук“.  
Я спросил у тополя, а он оказался „Тополь“.

Земля наполнит воронки грязью, подзовёт и меня.  
В шампанском булькают выстрелы, водка горчит зоманом.  
Когда бы слоны были всадники, я знал бы их имена  
И на родном, и на басурманном.

### Когда стучится страх...

Когда стучится страх из сейфа монитора,  
Вскрывая стенки страт чеканом новостей,  
Я выключаю звук, не жму на линк повтора,  
Ведь всё, что я могу — обнять своих детей.

Беда бежит строкой, размашистой и плоской,  
Прочти её рукой, ослепший грамотей.  
Я выпил бы до дна с мерцающей полоской,  
Но все, что я могу — обнять своих детей.

У всех нас на родеу разбеги и причалы.  
Мы ходим по беду, как ходят за водой.  
Как часто мы родным приевшимся печалям  
Готовы изменить с любой чужой бедой.

Что будет после нас — ни жатвы, ни потопа.  
У страха вместо глаз болванки для статей.  
Я не был там, где мир сворачивался в штопор,  
И всё, что я могу — обнять своих детей.

### **Хрустели под колёсами миры...**

Хрустели под колёсами миры —  
То снег, то гравий.  
Изломанная линия горы,  
Небесный график.

Попробуй не спешить и не частить,  
И станет сразу  
Совсем неважно, кто его чертил,  
И кто размазал.

Слова — и по домам, и по томам,  
А тут — в начале —  
Не воздух превращается в туман,  
А свет в звучанье.

Контрапунктист какой же высоты  
Почти влюблённо  
Впечатал эти нотные щиты  
В тетради склона?

Попробуй стать немножечко мудрей,  
А там — как выйдет.  
И хочется безумолчно смотреть  
И молча видеть,

Прищуренными пальцами ловить  
Источник света...

Спускаются детёныши лавин  
Со скал, как с веток.

## Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик

Герр Пельцль учился в Сорбонне, любил ходить босиком.  
Среди всех немецких философов он держался особняком,  
Терпеть не мог Шопенгауэра, Канта и Дерриду,  
Хотя Деррида был позже, я кого-то другого имел в виду.

Герр Пельцль хлопал одной рукой по трещине на столе,  
При каждом слове Адорно хватался за пистолет,  
Считал себя наивысшей расой из всех наивысших рас,  
Стрелял в рейхсфюрера, жёг Рейхстаг, в парламент прошёл на раз.

Его слово было твёрже асфальта, точнее календаря,  
Ему прощали аресты, тюрьмы, расстрелы и лагеря.  
Когда он гарцевал на белом коне, прокладывая тропу,  
Никого не трогало, что тропа проходит через толпу.

Ему доверяли даже те, кто намного умней меня,  
Ему доверяли даже те, что кормили его коня,  
Ему доверяли даже те, что водили его рукой,  
Потому что, когда философ у власти, в страну приходит покой.

Ницше придумал, что „Gott ist tot“. Хотя тот был всего лишь „krank“.  
И не было Тани Савичевой. И не было Анны Франк.  
Война началась с пустяка, с инцидента, не стоящего обид,  
Ни один солдат из первых трёх сотен не понял, за что убит.

В стогах ночевали танки, ухал ночной миномёт,  
Тяжёлые бомбардировщики сыпали свой помёт,  
Дезертиры свисали с веток, подтверждая правило ноль:  
Любая власть питается страхом, отрывает войной.

Герр Пельцль созванивался с коллегами из Оксфордов и Сорбонн,  
Играл на сводках в крестики-нолики, чаще с самим собой,  
Кричал, что не отдаст паникёрам ни пяди родной земли.  
Когда бомбили Сорбонну, ему просто не донесли...

В стране давно перемены, никто не лает на площадях.  
Интервью у Пельцля берут по факсу, старость его щадя.  
Спорные территории вернулись, куда смогли,  
Трупы не отдали ни пяди личной своей земли.

Четвёртое поколение — по колено в былой войне.  
Мы опять считаем кресты по осени, холмики по весне.  
Я читал Эйнштейна и Витгенштейна, я думал, что я пойму,  
Но мир — отражение языка, показанного ему.

### **Небо просыпалось птичьим сухим помётом...**

Небо просыпалось птичьим сухим помётом.  
Вкус этой манны невесел и незнаком.  
Просто, чтоб реки текли молоком и мёдом,  
Нужно наполнить их мёдом и молоком.

Просто никто до сих пор не придумал способ  
Слабость людскую от силы людской отсечь.  
Бился о камень простой деревянный посох,  
Щепки летели, вода не спешила течь.

Это творец выжигает чужой мицелий.  
Копоть на кисти и кровь на его резце.  
Цель разрастается и, приближаясь к цели,  
Мало кто может остаться размером с цель.

Трещины в камне однажды сойдут за карты,  
Трещины в судьбах однажды сойдут на нет,  
А всё равно не тебе отменять закаты,  
Взламывать море, приказывать пасть стене.

Это — другим. Это внукам на фоне полдня —  
Строить, и сеять, и верить, и коз пасти,  
Имя твоё на твоём языке не помня,  
А на своём не умея произнести.

## Цикл «Родной стране»

### Смерть в Марьиной Пойме

До Марьиной Поймы лет десять, как ходит поезд.  
Давно не посёлок, ни разу не мегаполис,  
Она принимает состав — отдаёт состав.  
Обеденный выхлоп, обыденная работа.  
Советская власть — в стенгазетах и анекдотах,  
И мало кто знает, что ей не дожить до ста.

Не то, чтобы тихо — и пьют, и ломают скулы,  
Но пьянки постылы, а драки предельно скупы —  
Бетонные лица бредут в деревянный рай.  
Вот так и с домами — бетон в деревянной раме.  
Жильцы до сих пор продолжают дружить дворами  
И утренний кашель машин принимать, как лай.

У Марьиной Поймы душа в полторы сажени.  
И в центре её обретается баба Женя,  
В которой по капле стекаются все пути.  
И дело не только в её самогонном даре  
Да в хитрой воде из промышленной речки Марьи,  
А в том, что умеет любого в себе найти.

Старухина память — крапивного супа горечь.  
Так небо терзало, что прежде ласкало голень,  
Железная жатва по сёлам брела с мешком.  
Деревня впадала в посёлок, посёлок в город.  
Она ещё помнит, как жизни впадали в голод,  
И люди ломались с коротким сухим смехком.

А нынче и слёзы — закваскою в мутной таре,  
Когда и убийство — не вымыли, так взболтали.  
Убитый — мужчина, поэт, тридцати пяти,  
Прошитою роста, прокуренного сложения.  
Никто б и не рыпнулся, если б не баба Женя,  
Которая может любого в себе найти.

Невеста рвала своё платье, как зуб молочный,  
 Не слишком красива, но года на два моложе.  
 И что бы не жить до хотя б тридцати семи.  
 Поэт-распоэт, а не вякнешь, когда задушен.  
 Друзья говорили, что парень давно недужил  
 И, видно, не сдюжил грозящей ему семьи.

Убийцу искали, как праведника в Содоме.  
 На каждой странице маячил герой-садовник.  
 Летели наводки из каждого утюга.  
 На вялых поминках случился дешёвый вестерн:  
 Иваныч с двустволкой пошёл отпевать невесту —  
 Хрена ль новостройки, когда между глаз тайга.

Девичник был скромн: она, баба Женья, черти.  
 Сидели, ныряли в на четверть пустую четверть.  
 Слова поднимались на сахаре и дрожжах:  
 «Пойми, баба Женья, охота — всегда загонна.  
 Потом догоняешь, хватаешь его за горло  
 И вдруг понимаешь: иначе — не удержать.»

Она отсидела. И вышла. И вышла замуж.  
 Его напечатали, крупным, не самым-самым.  
 К нему на погост ежемесячно, как в собес,  
 Духовнее нищего, плачущего блаженней,  
 Ходила его не читавшая баба Женья,  
 Которая может любого найти в себе.

Негромкие строки рождались, росли, старели.  
 Темнел змеевик, и по медной спирали время  
 Текло, проверяя на крепость сварные пивы.  
 Я был здесь проездом. Где Волга впадает в Темзу.  
 Из Марьиной Поймы никто не уехал тем же —  
 Всё лучше, чем если б никто не ушёл живым.

## Слово Икара

Каждый ушедший в море — потенциальный труп.  
Солнечный луч, как поясной ремень.  
Слово Дедала — трут.  
Слово Икара — кремень.  
Ему наплевать на запах пера жжёного.  
Его первый сборник называется: «Потому».  
Он обещал коснуться этого, жёлтого,  
Иначе девушки не поймут.

Голос льняной, волос ржаной,  
Крылья, как люди, шепчутся за спиной.

Дедал орёт на сиплом, кроет гребцов на углу  
Кораблике, где даже крысы спились.  
Икар вылетает на встречу с богами утром,  
Кинув на мейлинг-лист:  
«Шеф, всё пропало, я очень и очень болен.  
Словно дедаины, трубы мои горят».  
Мимо него как раз пролетает боинг —  
Сорок моноклей в ряд.

Каждый моноколь, словно манок,  
Взгляд человеческий — бритва, сам человек — станок.

Левые крылья мигают зрачками алыми,  
На правых огни — зеленее кошачьей зелени.  
У капитана лучшее в мире алиби —  
Он в это время падал над Средиземным.  
Вираз Икара — вымерен по лекалам,  
Завершён элегантным уходом в гибель,  
А самолёт, сбитый рукой Икаровой,  
Всего лишь не долетел в Египет.

Лампы под потолком, родственники битком —  
Ждут чёрного ящика с радиомаяком,  
С матерным, неизысканным языком.

\* \* \*

Из розочек бутылочных — венцы,  
И образа, как печи, изразцовы.  
У нас не заживляются рубцы.  
У нас не заживаются Рубцовы.

Всё то, что опер к делу не подшил,  
Наверняка не относилось к делу.  
И до сих пор у камня ни души —  
Ни ангела сидящего, ни тела.

Евгений Никитин

## Немецкие рассказы

### Как я эмигрировал в Германию

Однажды немецкое государство захотело воссоздать в стране еврейскую диаспору и пригласило нас с мамой к себе жить. Мы долго ждали, пока немцы додумаются до этого. Я как раз заканчивал школу и всё ждал. Было ясно, что если я не уеду, то придётся устраиваться в Москву гастарбайтером. В Молдавии делать было нечего. Я не знал молдавского.

Но однажды они-таки дотумкали до того, чтобы пригласить нас к себе. Мы бы, правда, никогда об этом не узнали, если бы не счастливая случайность. Потому что почтальон по ошибке положил письмо в чужой почтовый ящик. Не к нам, а к Эмили Ивановне, учительнице русского языка, жившей этажом выше. А Эмилия Ивановна, не обратив внимания на адрес, вскрыла письмо и ничего в нём не поняла, потому что она не знала немецкого. Она решила, что это какая-то реклама и выкинула наше приглашение в мусорное ведро.

Но счастливая случайность спасла нас. Бабушка в этот день встретилась на базаре с Эмилией Ивановной. Надо сказать, что жители Рышкан всегда встречались «на базаре». Событий в Рышканах было не очень много, поэтому такие встречи «на базаре» потом составляли главный предмет дискуссий.

Итак, моя бабушка встретила Эмилию Ивановну. Само по себе это ничем бы нам не помогло. Но у бабушки были предчувствия. Например, она видела сны. Однажды секретарша нашего жилищного кооператива умерла и стала сниться бабушке. Сначала она завещала ей во сне свою печатную машинку, на которой я потом напечатал свой первый рассказ, а потом стала предупреждать о разных событиях. Накануне того дня бабушка ночью пообщалась с покойной и утром сказала, что у неё предчувствие.

Поэтому, когда она встретила Эмилию Ивановну, внутри бабушки что-то дрогнуло. Стоило учительнице русского упомянуть странное письмо, бабушка сразу почувствовала — это наше приглашение.

И она была права.

Поэтому мы уехали в Германию и стали там жить.

По прибытии нас поселили в общежитии. Командора общежития звали фрау Шаф, что переводится как «овца». Она определяла, кому где жить. Она была очень милая женщина. Её коллегу по работе в ратхаусе звали фрау Каналья. Это никак не переводится, во всяком случае, с немецкого. Фрау Каналья занималась выплатой нам государственных денег. Поскольку у эмигрантов своих денег быть не может, им платили государственные. Это называлось «социал».

Если у нас были проблемы с жильём, мы шли к фрау Шаф, а если с деньгами — к фрау Каналье.

Общежитие стояло на краю города у поля, засеянного кукурузой. Честно говоря, мы как будто снова оказались в Рышканах. Кроме евреев здесь селили немцев из Казахстана. На каждом этаже жило по целой деревне казахстанских немцев, каждая со своими отдельными старостами и начальниками колхоза. Те из них, которые действительно были немцами, селили у себя своих односельчан нелегально.

На нашем этаже тоже жила деревня немцев. Они постоянно мылись, поэтому я никогда не мог попасть в ванную комнату и утратил привычку чистить зубы по утрам. Но я не считаю из-за этого, что они плохие. Я хорошо отношусь к казахстанским немцам.

Евреев в общежитии было не очень много и все пожилые, кроме меня. Я не знаю, как они должны были воссоздавать еврейскую диаспору. Ведь способность к деторождению они, скорее всего, уже утратили, и сами тоже должны были скоро умереть от старости.

Кроме того, мужчин здесь было раз, два и обчёлся. В основном пожилые тётки. Кроме меня в общежитии жил только один еврейский мужчина — Семён. Он был старожилом, и ходили слухи, что он шпионит в общежитии по заданию фрау Канальи.

Дело в том, что эмигрантом не разрешалось иметь в комнате ничего лишнего. Если у тебя есть, например, микроволновка, то зачем платить тебе «социал»? Продай микроволновку сначала.

Естественно, что у казахстанских начальников колхоза всё это было — и микроволновка, и телевизор, и, прости Господи, пла́йстейшн. Их надо было вывести на чистую воду. Этим Семён, по слухам, и занимался.

Однажды он постучал и в мою комнату.

— Добрый вечер. Вы не могли бы одолжить мне стакан соли?

— Мог бы. А зачем вам соль? — спросил я.

— Я делаю такой, знаете ли..м-м-м... луковый суп. На основе, знаете ли, лука...

Говоря это он пристально оглядел мою комнату, но не обнаружил в ней ничего запретного, кроме бабушкиной печатной машинки, которую я привёз из Рышкан. Я дал ему соль. Он понюхал её и сказал с некоторым сожалением:

— Вы знаете, что настоящая фамилия Ахматовой была Горенко?

После этого он, не дожидаясь ответа, закрыл дверь и больше не приходил. Вот скажите, разве мог такой мужчина воссоздать в Германии еврейскую диаспору?

Поэтому я понимал, что единственная надежда — на меня. Только с этим я не мог справиться в одиночку. Чтобы родить еврея, я должен был зачать

ребенка тоже от еврейки, потому что у нас национальность считается по матери, а вокруг были одни казахстанские немки. Кстати, мной они не интересовались. Через несколько лет, когда я совсем повзрослел, эта проблема начала сильно нервировать меня и мой, так сказать, гормональный фон. Казахстанские немки старались выходить замуж за коренных жителей. А коренные немки тоже не интересовались отношениями с нищими обитателями эмигрантских коммуналок.

Когда я стал жить отдельно от матери, я полностью опустил себя от одиночества и безысходности. Немцы отправили меня подметать школу, чтобы я хоть как-то приносил пользу обществу. Вся социальная помощь у меня без остатка уходила на выплату долга за компьютер, который я купил в рассрочку, чтобы вечерами сидеть на литературных сайтах. Питался я почти полностью кофе с сахаром. Честно говоря, жизнь была совершенно невыносимой и, что ещё хуже, бессмысленной. Поэтому, познакомившись по Интернету с девушкой из Москвы, я буквально в один день всё бросил, уехал с одной сумкой в Россию и стал молдавским гастарбайтером. Как говорится, от судьбы не уйдёшь.

## Социаламт

В 2001 году в Германии я погрузился в страшную депрессию. У меня не было никакого круга общения, я висел между двумя точками сна, как мёртвая муха на паутинке. Я перестал мыть посуду и складировал её на кухне, пока не осталась одна тарелка. На столе у меня стоял пакет с сахаром для кофе, и сахар уходил быстрее песка в песочных часах. Тогда я решил завести кошку.

Помню, в Молдавии кошки и собаки водились просто под окном. Высунулся, схватил и готово. Но в Дортмунде не было никаких бродячих животных. Я не знал, где взять кошку. Так что я дал объявление в газету.

«Возьму к себе жить котёнка. Лучше женского пола. Обращаться по номеру такому-то».

На следующий день мой телефон впервые за год зазвонил.

— Добрый день, герр Никитин. Меня зовут Марта Херцфельд. Я по поводу объявления.

— Да?

— Зачем вам котёнок?

— Что вы имеете в виду?

— Я звоню из общества защиты животных. Хочу выяснить, что вы собираетесь делать с котёнком.

— Ничего. Я буду его кормить.

— Тестировать новые кошачьи корма?

— Да нет, ничего подобного! Я частное лицо.

— Все так говорят. Кстати, почему котёнок?

— Чтобы наблюдать, как он растёт, играть с ним...

— Но почему именно женского пола? — с нажимом спросила Марта Херцфельд.

— Я больше люблю кошек.

— В каком смысле «любите»?

— У меня всегда были кошки. Раньше.

— И что с ними происходило?

— Да ничего, старели и умирали. Я жил в Молдавии, у нас была куча кошек.

— Вы больше не в Молдавии, герр Никитин. Вы это понимаете?

— Конечно, понимаю.

Марта Херцфельд произвела какой-то странный звук, типа „хм-хм-хм-хм-хм“.

— Я всё ещё не уверена. Вы точно обещаете, что не будете ставить над котёнком никаких экспериментов?

— Мамой клянусь.

— Ну хорошо. Я дам вам телефон одной пожилой фрау, которая держит кошек.

— Спасибо.

— Она на вас посмотрит.

— Посмотрит?

— Да. Нужно разобраться, как вы находите общий язык с животными. А потом я сама приду к вам домой.

— Зачем?

— Выясню, какие у вас условия жизни.

Тут я вспомнил про посуду на кухне. Про единственную тарелку. Про пакет сахара. Про запах одинокого человека.

— Знаете, не стоит ко мне приходить.

— Ах, да? Это почему ещё?

— Я передумал заводить котёнка.

— Вот и хорошо, — бросила Марта Херцфельд. — Меньше народу, больше кислорода.

Она, конечно, не это сказала, но смысл был примерно такой же, и прозвучала фраза так же нелепо.

Я проспал ещё несколько дней, как вдруг меня вызвал на аудиенцию работник социальной службы. У него была длинная фамилия, похожая на название йогурта, типа Вим-Биль-Данн. Я пришёл в назначенное время в социаламт и отыскал нужный кабинет.

— Так-так, — пробормотал Вим-Биль-Данн, мрачно оглядывая меня. — Герр Никитин. Вы уже нашли работу?

— Нет, пока не нашёл.

— Вот как, вот как... Видите ли, до нас дошли сведения, что вы намеревались завести кота.

Кот по-немецки звучит как „катер“. Да и интонация у Вим-Биль-Данна была такая, будто я втайне от государства решил приобрести катер и заняться контрабандой секс-рабынь с территории бывшего СССР через Северное море.

— Не кота. Кошку.

— Ну кошку так кошку. Вы завели её?

— Нет, не завёл.

— Вот и хорошо. Но мне придётся это проверить.

— Зачем?

— Видите ли, герр Никитин, мы платим вам социальную помощь, чтобы вам самому хватало на пропитание. Если вы заводите кошку, значит у вас появился дополнительный источник дохода. У вас появился дополнительный источник дохода?

— Нет.

Вим-Биль-Данн испытующе посмотрел на меня из-под мохнатых бровей.

— А чем вы собирались кормить кошку?

— Собственной плотью, — ответил я.

— Ага, — сказал работник социальной службы, ничуть не удивившись, и сделал себе в бумагах какую-то пометку. — Очень хорошо. Вы пока свободны. Можете идти, герр Никитин. Фидерзейн.

Я пошёл домой. По дороге у меня в голове крутилась грустная песенка:

*Хотел я кошку завести,*

*Но нет в округе кошек.*

*Хотел я блошку завести,*

*Но нет бездомных блошек.*

*Что ж, стану сам я кошкою,*

*Обзаведуся блошкою...*

## Пётр Исаевич

Однажды я искал литературу и нашёл жизнь. Как всё началось, я прекрасно помню, словно это произошло сегодня. Отправной пункт — день, случившийся со мной более десяти лет назад, когда я жил в Германии, в маленьком спальном городке под названием Шверте.

Этот самый день выдался на удивление сухой и солнечный. Время года определить было невозможно, потому что почти всегда шёл убаюкивающий дождь. В отличие от наших спальных районов, такие городки состоят из частных владений, где немцы спят, пока не работают. Поэтому Шверте называют «подушка Дортмунда». Кроме дортмундских сонь здесь обитают морщинистые

пенсионеры. Когда нет дождя, они катаются на велосипедах, а в остальное время тоже спят в разноцветных домиках с садиком. Немец не подозревает, что на самом деле живёт на даче.

Еврейские эмигранты и казахстанские немцы тоже вели в Шверте пенсионерский образ жизни с той разницей, что дача у них была одна на всех. Она находилась у большого кукурузного поля. Эмигранты называли свою многопользовательскую дачу «Хаим». Это немецкое слово, означающее в переводе что-то среднее между родным очагом и общежитием. Но эмигранты произносили его так, словно это имя еврея. Я был одним из них.

Я возвращался к Хаиму на автобусе. Жизнь в Шверте развивает паразитическую лень. Библиотека находилась в сорока минутах ходьбы, спешить было некуда, а делать — нечего. На крайняк я мог взять велосипед, собранный из частей велосипедов, выброшенных немцами на свалку. Но я сел в автобус. В руках у меня была привезённая из Молдавии авоська. В неё я положил библиотечные книжки. Надо сказать, что в Германии в авоськах можно увидеть разве что картошку в магазине. Немцы обычно ходят с сумками, а эмигранты — с пластиковыми пакетами, потому что они бесплатные. В этом основное внешнее отличие немца от эмигранта. Поэтому я был похож на идиота неопределённого происхождения.

За окном не проносилось ровным счетом ничего интересного. Я сидел, как все закомплексованные люди, скрестив ноги и сомкнув пальцы, и предавался привычному унынию. Было мне плохо и одиноко. Я жил в общежитии совершенно один, за закрытой наглухо дверью. За этой дверью происходила какая-то жизнь, но я старался в неё не очень вдаваться. От одиночества я начал писать стихи и, как любой нормальный человек, тут же стал считать себя великим русским поэтом. Сидя в автобусе, я как раз обдумывал очередное лирическое произведение. Речь в нём шла о беспросветном унынии, но на первый взгляд понять ничего было невозможно. Во всяком случае, я ничего понять не мог.

На остановке в автобус вошёл маленький небритый человечек и внимательно огляделся. Завидев мою авоську с книгами, он сел напротив. Был он крепенький и быстрый, смотрел одним глазом на меня, а другим, красным, куда-то сквозь. Он носил клетчатые шорты с подтяжками, а на его лысеющей макушке играл солнечный свет.

— Едете к Хаиму? — спросил он по-русски.

— Ну да.

— Я тоже. Меня зовут Пётр Исаевич Склярский.

Он протянул мне руку.

— Евгений Никитин, — ответил я в унисон с его манерой представляться.

— Вы меня поразили. Захожу в автобус, а тут человек с книжками сидит.

— Я из библиотеки еду.

— Однако. Не знал, что у Ханма кто-нибудь знает, где находится что-либо, кроме магазина «Альди». Что вы читаете? Надо же. Тютчев? Ого.

Он схватил мою авоську и стал рассматривать книжки. В каждой немецкой библиотеке есть раздел книг на иностранном языке. В моей авоське Пётр Исаевич обнаружил стихи Тютчева, «Мёртвые души» и «Фауста» в переводе Пастернака.

«Альди», упомянутый Петром Исаевичем, был наиболее дешевой сетью продуктовых магазинов, поэтому пластиковые пакеты, по которым эмигранта отличали от местного жителя, происходили в основном именно оттуда. Наш брат по привычке закупал продукты на неделю вперёд на случай инфляции и поэтому тащил к Хаиму не менее четырех чудовищно раздувшихся пакетов. У эмигрантов от этого портилась походка, и они двигались как бы вразвалочку.

— Вы первый образованный молодой человек, которого я здесь встречаю, — польстил мне Пётр Исаевич, разглядывая сборник Тютчева. — В вашем возрасте я уже писал стихи.

— Я тоже пишу стихи.

— Вот как, — поразился Пётр Исаевич. — Прочитайте мне что-нибудь.

— Как-то неудобно, — сказал я ханжеским голосом.

— Очень удобно. Кроме меня вас никто не поймёт.

Он был прав. Поблизости не было никого с пластиковым пакетом. В автобусе сидело человек пять обсуждающих погоду ровесников Гинденбурга и одна его ровесница, смотревшая на нас с каким-то ужасом. На следующей остановке она выскочила, как ошпаренная. Я бы удивился этому, если бы на майке Петра Исаевича не было написано «Remember 1945».

Я откашлялся.

— Вперёд, — подбодрил меня Пётр Исаевич.

— «Когда-то видел я в одном ушедшем сне...»

— Стоп, — оборвал меня Пётр Исаевич. — Я, конечно, понимаю, что это ваше коронное стихотворение. Но так нельзя. Это же типичные эмигрантские стихи. Это ясно уже по первым строчкам. Вы слишком много спите, это выдаёт некоторая помятость вашего лица. Дальше будет что-нибудь про осеннюю пору? Я так и думал. А главное — нельзя читать таким убитым, гнусавым голосом. Сядьте прямо. Расправьте плечи. Вдохните побольше воздуха. Почувствуйте себя красивым и независимым человеком. Вот-вот. Что там дальше?

Я дочитал стихотворение, которое заканчивалось так:

Прошли года и детства не вернуть,

А я всё жду. Мой сон не завершён.

Я досмотрю его когда-нибудь...

Сегодня может быть приснится он.

— Понимаю, — сказал Пётр Исаевич. — Сколько сонорных звуков! Вы,

наверное, воображаете, что живете где-нибудь в Париже. «Мой сон не завершен». С вами надо что-то делать. Я каждое утро принимаю холодный душ. После этого все сны как рукой снимает. Душ, а потом пробежка. И вообще, вы неправильно сидите. В Германии нельзя сидеть, положив ногу на ногу, а тем более скрутив их винтом. Считается, что так сидят только голубые. Положите стопу на колено. Вот так. Яйцам гораздо свободнее. Ощущаете разницу?

— Так мне нога болит, — сказал я.

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— Девушка-то у тебя есть?

— Постоянной нет. Но я влюблен в одну.

— Ладно. Заходи сегодня ко мне. Третий этаж налево. Выпьем водки.

Держи вот.

Движением фокусника он извлек откуда-то небольшую книжку.

— Это Андрей Вознесенский. Почитай, приди в себя. Вечером зайдёшь, обсудим.

С этими словами он вышел из автобуса и растворился в воздухе.

Я и не подозревал, куда всё это может меня привести.

Моя комнатуха у Хаима представляла собой кровать и компьютер без интернета. Больше в ней ничего не было. Я жил почти как Раскольников. В роли роковой старушки выступала полоумная соседка, которая при каждом удобном случае колотила в мою дверь. Правда, убей её — и я бы полностью потерял связь с реальностью. Соседка — звали её Фаня — хотя бы напоминала, что у меня сгорает на кухне очереднаястряшня. Она стала следить за моими действиями с тех пор, как однажды ночью услышала странный звук. Фаня глуховата, поэтому она очень удивилась четкости этого звука, его тембру и необычной пульсации. В то время Фаня была новенькой у Хаима и не разбиралась в некоторых тонкостях общежитейского быта.

— Представляете, — рассказала она мне утром, — просыпаюсь от такого страшного звука... Я ужасно испугалась. Решила, может это инопланетяне? В окно смотрю — таки да: какие-то вспышки света. Все из комнат выбегают и куда-то несутся. Я со страху под одеяло забралась и сижу там, прячусь. Потом заснула.

— Ничего страшного, — говорю. — Это у меня каша ночью сгорела.

Надо сказать, что при малейшем изменении температуры в общежитии включалась сигнализация такой мощности, что от неё закладывало уши. А той дождливой, с громами и молниями, ночью на меня почему-то напал жор. К слову, питался я плохо, потому что отдавал долг отчиму за купленный компьютер. В основном мой рацион состоял из каш, макарон, пакеточных супчиков и картошки.

С того дня моя нехитрая кулинарная деятельность подпала под наблюдение Фани. За несколько лет она ни разу не попыталась выключить за меня плиту. Вместо этого Фаня прибежала и стучала мне в дверь огромным костлявым кулаком. Она очень боялась, что инопланетяне могут прилететь снова. В сущности, в ней было что-то трогательное. Я бы даже привязался к ней, если бы меня не настраивал против неё другой сосед — Семён из Киева. Это был грузный старичок лет семидесяти, постоянно одалживающий у меня то сахар, то соль.

— Фаня — очень опасная женщина, — говорил он шепотом. — Не связывайтесь с ней.

— Почему? — спрашивал я.

— Вы были когда-нибудь в Киеве? По глазам вижу, что не были. Если бы вы были в Киеве, я бы вас не стал знакомить с Сарой Моисеевной. Ни за что.

— В смысле?

— И не просите. С Сарой Моисеевной я вас знакомить не стану.

— И не надо, — озадаченно говорил я.

— И не буду.

— А причём здесь ваша Сара Моисеевна?

— Эти женщины — две родственные души. Я вижу это по глазам. Глаза — зеркало души. Увидев Фаню, я сразу же вспомнил Сару Моисеевну. Я кое-что знаю про неё. Я не буду вам говорить. Но поверьте, с ней лучше не иметь дела. Я уверен, что она вступала в противоестественную связь... Нет, я отказываюсь говорить об этом. Лучше даже не просите меня. Я не могу.

Два этажа в нашем крыле были полностью заселены престарелыми еврейскими эмигрантами. Казахстанские немцы занимали остальной дом. Они составляли большинство. Они были разных возрастов. Их жизнь кипела. Я ничего не понимал в ней. Я знал только, что седая женщина с первого этажа высовывается из окна и громко орёт на зазевавшихся прохожих, что следует опасаться похожей на крокодила собаки, что в подвале молодёжь курит какой-то вонючий наркотик и прочие отрывочные сведения подобного рода. Казахстанские немцы приезжали целыми деревнями. Они привозили даже тех жителей, которые не являлись немцами, и нелегально держали их в общаге. По ночам на лужайке устраивались дискотеки — в основном под популярную песню «Ты целуй меня везде».

Из окна моей комнатки открывался вид на большое поле. Я упоминал, что оно кукурузное, но это полуправда. На самом деле я никогда не видел, чтобы там что-то росло. Но я сталкивался в своей жизни в основном с кукурузными полями и предполагал, что это поле такое же. Это примиряло меня с окружающей реальностью. Если мы находим в окружающей реальности знакомые элементы, то начинаем чувствовать себя уютнее. Мы создаём новую систему координат,

исходя из этих элементов. А если их нет, ничего страшного. Мы найдём их даже там, где их нет. На моей родине в поселке Рышканы у нас долгое время был свой участок, где мы растили кукурузу. А когда он исчез, мы с братом попросту воровали кукурузу с каких-то общественных угодий. Всё равно все поля в нашем сознании были «дедушкины», потому что наш дед до выхода на пенсию работал главным агрономом.

Вечером я отправился к новому знакомому. В моей декадентской голове от чтения Вознесенского образовалась какая-то точка сингулярности, из которой должна была родиться новая вселенная. Я уже понял, что её демиургом станет Пётр Исаевич.

Я постучал в дверь.

— Заходи, не разувайся, — донесся голос Петра Исаевича.

Я зашёл.

Комната Петра Исаевича была вся заставлена книгами. Правда, вместо знакомого всем библиотечного запаха, здесь пахло почвой и водкой. От тех участков пола, на которых не валялись книги, отслаивались несколько слоёв чёрной комкующейся грязи, которая, видимо, накапливалась годами. По всему было ясно — Пётр Исаевич не разувался никогда, будто прятал от себя собственные копыта. При попытке сделать шаг я сначала прилепился к грязевой массе, а потом споткнулся о стопку собрания сочинений неизвестного мне писателя. Пётр Исаевич подхватил меня в полете и усадил на садовый стул. Сам он уселся на кровать, а между нами поставил табуретку, на которой разложил водку и селёдку.

— Сначала выпьем за знакомство, — сказал Пётр Исаевич.

Мы выпили.

— Я немного подумал над твоим стихом, — сказал Пётр Исаевич. — На самом деле, он не так уж плох. Во всяком случае, музыкален. Слова ты чувствуешь. Для поэзии это очень важно. Но тебе надо развиваться. Кто твои родители?

Я почувствовал к Петру Исаевичу глубокое доверие, какое бывает только к людям, поругавшим и тут же похвалившим твою писанину. С моими родителями дело обстояло непросто. Особенно, что касалось фигуры отца. Мама выходила замуж три раза — первый раз за меломана, второй за жулика, а третий — за механика по швейным машинкам. Между жуликом и механиком был ещё владеющий игрой на баяне активист еврейского движения, но маме удалось не выйти за него замуж. Со стороны можно было решить, что ей нравится вся эта клоунада. Мы даже придумали песню на мелодию «Пеппиты» Дунаевского, которая начиналась так:

*Троицу муженьков несчастных  
растила дома матушка моя.*

На самом деле всё было ровно наоборот: это муженьки выращивали меня и мою маму у себя дома. Из-за этого мы с ней всё время меняли место жительства. Меломан жил в Кишиневе, жулик — в Ставрополе, а механик по швейным машинкам сразу после свадьбы уехал в Германию и потянул нас за собой. Самый приличный из мужей был меломан, и я рад, что родился именно от него, а не от жулика или, Боже упаси, механика по швейным машинкам. Мама в то время собиралась стать оперной певицей и училась в консерватории. Они с отцом были люди современные и воображали, что могут не считаться с условностями брака. Однако условности их поимели. Условности всегда побеждают, если относишься к ним легкомысленно и не учишь их реальной силы. Свободная любовь не получилась, брак распался от взаимной ревности и бытовых перестроечных неурядиц, вроде отсутствия работы и денег. Во время очередного приступа ревности отец выгнал мать из дома. Мне было шесть лет. Я помню этот день, как сегодня. Передо мной поставили выбор, с кем я хочу остаться. Я подумал и пошёл с мамой. У нас был серьёзный разговор. Мы дали недалёковидное обещание не расставаться и поддерживать друг друга в неожиданно изменившихся обстоятельствах жизни. На следующий же день я был отправлен на ПМЖ к бабушке с дедушкой, где прожил следующие четыре года, изредка встречаясь с настоящими родителями.

Из мамы не получилось оперной певицы, и она переквалифицировалась в парикмахеры. Когда мне исполнилось десять лет, нас увез в Ставрополь её второй муж. Он был предприниматель. Его предпринимательская деятельность состояла в том, что он занимал у мафии большие деньги, организовывал на них нечто грандиозное, а когда это грандиозное лопалось, прогорало, вылетало в трубу и тому подобное, он смывался с деньгами в какой-нибудь отдаленный город. Некоторое время он провёл в тюрьме, где писал эротические рассказы. В период предпоследней аферы его смыло из Кишинева в город Ставрополь вместе с его мамой, его собакой, кошкой, моей мамой и мной. Я был неизбежным довеском к моей маме, функция которой состояла в уходе за умирающей мамой предпринимателя, а также за его собакой и кошкой, пока он трахал всё, что движется, организуя очередной отъём денег у частных и общественных организаций. Через два года это привело к лихорадочному бегству из Ставрополя. Это были последние дни общения с маминим вторым мужем. Мы бежали обратно в Молдавию, но не прямой дорогой, а сделав крюк через Невинномысск, чтобы обмануть погоню. Мамин муж сбрил бороду и оказался человеком с довольно маленьким лицом, черты которого выдавали внутреннее убожество. Он был ещё более похожим на эльфа Добби, чем будущий президент России. Правда, в то время я не знал ни того, ни другого. Меня поразило, как этот грустный человек мог наводить на нас такой страх. В свое время он даже угрожал убить меня за то, что я не тем тоном обратился к его матери. Теперь же

он дрожащими руками задергивал занавески на окнах в поезде, а когда в купе стучал проводник, поворачивался на всякий случай спиной к двери. В Ростове-на-Дону он пересел в другой поезд и исчез. Больше я никогда его не видел. Мы добрались до Рышкан и стали жить вчетвером с бабушкой и дедушкой, пока на горизонте не замаячил третий мамин муж. Третий муж намеревался уехать в Германию и создать там семью. На будущее у него был намечен подробный план. Он хотел родить сына и сделать его звездой большого тенниса. Для этого следовало заранее откладывать деньги на обучение ещё не родившегося ребенка. Я должен был жить с мамой и отчимом, принося прибыль: пока мы жили вместе, немецкое государство выплачивало матери так называемый Киндергельд. Всё это время скупое питание кашами из привезённых с собой из Молдавии запасов крупы позволяло откладывать всю социальную помощь на будущие теннисные расходы. Дабы скопить побольше денег и успеть насладиться своим триумфом, Изя (так его звали) собирался прожить не менее ста пятидесяти лет, продлевая свою жизнь регулярными голоданиями и уринотерапией по системе Малахова. По правде говоря, из-за этого он долго не мог жениться. Мало кто из женщин способен выдержать процедуру кипячения урины, необходимую для получения более качественного напитка, чем сырая, так сказать, водопроводная моча. Отдельно стоит упомянуть о сложном расписании клизм и физических упражнений, призванных очистить организм от всего, что только возможно. Я даже сомневался, что у Изя есть какие-то внутренние органы. Мама мужественно голодала вместе с ним, худея не по дням, а по часам, пока не начала сталкиваться в коридоре с близорукими соседями по общежитию. Помнится, тогда прошёл слух, что в доме завелись привидения. Я не выдержал всей этой чертовщины и сбежал от Изя раньше, чем полагалось по его плану. Я отправился к командору общежития фрау Шаф и заявил, что у меня конфликт с отчимом, который мешает мне интегрировать себя в немецкую среду. Мне выделили отдельную комнатку, и с тех пор я жил один. Всё это я выложил Петру Исаевичу.

— С таким жизненным опытом, — сказал Пётр Исаевич, — твои стихи должны быть гиперреалистичными. А ты пишешь про сны да фиолетовые рассветы. В чём причина?

— Я всегда был домашним ребенком, — виновато сказал я. — Оттороживался от жизни.

— Это ерунда. Может быть, ты от неё и оттороживался. Но она проникала сквозь твою перегородку и давала тебе хорошенько под зад. Это совершенно ясно.

Мы снова выпили.

— Я думаю дело в некоторой местечковости, — предположил Пётр Исаевич. — Ты же из местечка. Ты думаешь, что поэзия — это нечто такое... возвышенное. Что писать надо поэтично. Про сны. Что стихи — они такие

бывают. Читать тебе надо больше. И переселяться отсюда в Дортмунд. А то ты из одного местечка попал в другое. Давай выпьем ещё. За вдохновение! Ты селёдочку-то ешь.

Мы долго пили, закусывали и, кажется, даже исполняли какую-то песню. Я ушёл от него с полной авоськой поэтических сборников — от поэтов Серебряного века до шестидесятников.

Ввалившись в комнату, я было рухнул на кровать, но вдруг затрезвонил мобильный телефон. Это звонил отчим.

Я очень удивился. Отчим никогда не выказывал большого желания говорить со мной.

— Ты это... — слышался в трубке глухой голос Изя. — С Петей общался?

— А ты откуда знаешь? — растерялся я.

— Да так... Он тебе, наверное, книжки дал. Дал?

— Ну, дал.

— Лучше с ним не общайся и книжек этих не читай.

По интонации голоса было ясно, что упаренная урина разъела остаток его мозгов.

— Почему это мне не читать книжек? — поинтересовался я, борясь с желанием отключить телефон.

— Был тут один Юра. Актёр. На гитаре играл. Жил себе спокойно. Потом почитал Петиных книжек, да уж.

— И что с ним случилось?

— Выслали его из Германии. За подделку документов. Говорят, в Одессе теперь живёт.

— Глупость какая-то, — не поверил я. — У меня тут одни стихи.

— Может, и стихи, — ответил Изя. — Но я тебя прошу от себя и от мамы — не читай ты их. Мозги они крутят, вот что.

— Боишься, что уеду в Одессу и перестану выплачивать тебе долг?

— Да что с тобой говорить, — расстроился Изя. — После разговоров с тобой мне ещё аuru чистить придётся.

Самое любопытное, что Изя оказался прав. Петины книжки меня изменили, и в конце концов я уехал из Германии и оказался в Москве.

## Карьерный рост

— Эта работа слишком лёгкая для меня, — сказала девушка Лена группе немецких говновозов во главе с представителем социальной службы. — Я готова к более тяжёлой работе.

— Чем же вы занимались в России? — боязливо спросил представитель.

— Я работала в литературном журнале, — гордо сообщила Лена

— Вау! — сказали говновозы.

— Разве это тяжелей, чем убирать говно? — спросил представитель.

Он выглядел немного растерянно.

— Нет, не тяжелей. Это ровно то же самое, — сообщила Лена. — Только в журнале ты точно знаешь, чьё говно.

Девушка Лена не была похожа на героиню труда. Это была худенькая, маленькая девушка в больших очках на длинном носу. Представитель социальной службы запрещал себе влюбляться в неё, опасаясь подозрений в педофилии, а говновозы ухаживали вовсю.

— Когда знаешь, за кем убираешь, становится трудно каждый день общаться с этими людьми, продолжала Лена.

— А зачем ты каждый день общалась с этими засранцами? — спросил один из говновозов, молоденький молдаван, сосланный на эту работу за тунеядство.

— Я любила то, что они делают, — вздохнула Лена. — и могла найти общий язык только с такими людьми. После работы я отправлялась на их сборища. Они были мне так же дороги, как вы, друзья.

— Зачем же вы уехали, Лена?

— Это всё Путин, — сказала Лена. — Постоянное ущемление моей свободы. Жить, писать стало невыносимо. Но это не главная причина.

Лена вздохнула и грустно добавила:

— Главная причина — невозможность карьерного роста.

## **Бумеранги**

*(в соавторстве с Алёной Чурбановой)*

Под окнами немецкой гимназии стоят теннисные столы. Однажды герр Шульце, учитель математики и муж фрау Шульце, учительницы философии... нет, я не о том говорю. Однажды в семь утра человек с белым лицом прыгнул из окна четвертого этажа и разбил голову о теннисный стол. Он мгновенно умер, а в кармане его брюк нашли мобильный телефон, на котором была ровно одна смс-ка.

Мне показали эту смс-ку. Она написана человеком, который абсолютно не чувствует, как нужно составить фразу на немецком языке. В переводе она звучит примерно так (я не стану имитировать ломаную речь):

«Вчера связала себе шерстяные носки — они получились похожими на бумеранги. Жалко, они не прилетают утром, когда перед сном зашвыриваешь их куда-нибудь».

«Наверное, ему писала русская девушка», — подумал я и стал воображать невесть что. Русская девушка из Петербурга, она приехала в прошлом году по

обмену и герр Шульце полюбил её. Теперь она вернулась назад и пишет ему смски про носки. Фрау Шульце ничего не знает, она безмятежно преподаёт свою философию, все считают её наркоманкой: длинные перчатки, из под которых ползут синие вздувшиеся вены, как у культуриста. Фрау Шульце — грустный, тощий, как вобла, человек, голос у неё высокий и унылый, вероятно, лирическое сопрано, такую женщину хочется обнять, утешить и задушить шнурком из сострадания. Теперь она осталась одна.

Я ничего не знаю ни про какую русскую девушку, но представим, вот она приезжает, у них с герром Шульце короткий флирт, она позволяет себя поцеловать, отбывает, лихорадочная переписка, он готов развестись и зовёт её замуж, русская девушка Тася, Анастасия, острые лопатки, нос-картошкой, мама — актриса, папа — известный режиссёр, Тася не хочет быть «русской женой», киндер-кюхе-кирхе, но она привязывается к трогательным эпистолам герра Шульце: он рассказывает о математике так, словно речь идёт о музыке, а в остальном мучительно краток, например: «Много и бесплодно думал о тебе». Однажды она пишет ему — я не знаю ничего, но допустим:

«Сегодня представляла, что ты меня аккуратно выцеловываешь всю, так задумчиво и методично, словно решаешь уравнение третьей степени, и постепенно я начинаю учащённо и шумно дышать, слегка подрагивать и пахнуть. Ноздри щекочут мои бока и бедра. А потом ты меня покусываешь — и губами и зубами, а пальцами гладить, как лепишь косточки таза, которые торчат. Я скулю тихонечко. Потом мы долго отходим, прежде чем снова начинаем дышать носом. Сейчас главное не шевелиться: стоит мне неосторожно повести бёдрами, и всё начнется сначала».

Это очень мило, такое переводить на немецкий, полагаю, она потратила на это письмецо много сил и времени, а результат был неуклюж, из каждой фразы торчат артикли и партиципы, можно уколоться, впрочем, я всё это придумал. Через месяц — классика: она приезжает на двое суток в Берлин, герр Шульце тоже устремляется в столицу, у них есть одна ночь, дальше — с глаз долой из сердца вон. Он готов ехать в Россию, бомжевать, но это бред сумасшедшего, прости, милый, возьми себя в руки. Тася щедра к герру Шульце, это первый и последний счастливый день в его жизни, потому что по возвращении он теряет интерес к окружающей действительности, вяло проводит несколько уроков математики и наутро, прочитав смс про носки-бумеранги, распахивает окно на четвертом этаже, шагает вниз и, как пловец о толщу воды, разбивается о синий теннисный стол. «Нет, его смерть не могла быть настолько опереточной», — решаю я, и выбрасываю всё это из головы.

## Что доконало Сару

(В соавторстве с Алёной Чурбановой)

Сарочка была жгучей брюнеткой из фильмов Вуди Аллена, с которой, я точно знал, — у нас ничего не получится. Но всё же в нашем разрыве виноват был не я, а чёртова старая Голда.

Я жил тогда в хайме для переселенцев, а на первый этаж подселили древнюю как порох бабушку — эту самую альте хексе по имени Голда.

Жить на первом этаже ей было несладко. Дело в том, что на первый этаж обычно ходила в туалет молодёжь. Она всю ночь танцевала на траве под магнитофон, потом спускалась в подвал и курила марихуану. Периодически всем надо в туалет. Ближайший туалет в этом крыле здания — на первом этаже, где жила Голда.

Каждое утро Голда находила туалет обосранным с пола до потолка, как будто молодые люди становились на голову и выстреливали шайзе прямо в небо. В один прекрасный день туалет забился. Голде ничего не оставалось, как ходить в туалет на втором этаже. Но на втором этаже жили казахстанские немцы. Весь их родной дорф от директора завода до последнего сторожа на протяжении многих лет постепенно собирался на этом этаже. Им не очень нравилось, что на их территорию с весьма сомнительными целями вламывается старая еврейка.

— Они смотрят на меня так, будто знают, что я собираюсь сделать, — жаловалась Голда.

Мы с Сарочкой тем временем находились в самой лучшей стадии наших отношений — только недавно я просто помогал с трудным для девочки из Бельц немецким языком, а теперь она приходила ко мне, и мы сразу ложились в постель, где уже помогали с языком друг другу. Иногда мы ещё смотрели вместе кино, хотя с Сарочкой это было непросто. Она любила ровно один фильм — «Морозко», и мы ставили только его. Во время фильма она никогда не смеялась, а только плакала и скучала по цу хаузе. У неё была серебристая скобка на передних зубах и слабое чувство юмора.

Общежитейская молодёжь, с которой я вступал в коммуникацию два раза в день, когда проходил мимо по дороге в гимназию и обратно и выпивал с ними стакан водки за Россию, заважала меня, когда в моей жизни появилась Сарочка.

— Эй, ду, еврейский мальчик! — кричали мне казахские девушки. — Бросай свою фифу, иди к нам!

Туалетная война тем временем становилась всё более яростной. Сарочка переживала и просила меня вмешаться. Но что я мог сделать? Починить Голде туалет? Провести с казахстанскими немцами разъяснительную беседу? Наконец терпение казахов улетучилось, и они запретили Голде посещать уборную на их этаже.

По правде говоря, Голду было жаль. Теперь ей приходилось подниматься на третий этаж, где тоже жили евреи. Она мужественно преодолевала ступеньку за ступенькой. Ничего смешного в этом не было, но поди объясни это местной детворе. Пукающая на лестнице бабушка пользовалась большой популярностью. Молодёжь во дворе поднимала за неё тосты. Голда терпела. Последней каплей для неё стал визит Иваныча. Иваныч был зэковского типа бородатый мужик, наставник молодёжи, совершенно сумасшедший, возможно, какой-то казахский шаман, а может, просто нелегал.

Иваныч заявился посреди ночи и попросил у Голды денег. Голда не открывала. Иваныч угрожал сломать дверь. И действительно, он решил её сломать. Даже притащил откуда-то грязную трубу. Но был для этого слишком безобфен. Заснул на пороге с трубой в обнимку и наутро ушёл. Тогда Голда собрала всю волю в кулак и поднялась на последний, четвёртый этаж, где жил я. Я был своём роде уникальным. Во-первых, единственный в общаге молодой еврей. Во-вторых, единственный еврей в общаге, владеющий немецким.

Голда умоляла меня пойти с ней «к властям», объяснить ситуацию и попросить переселить её на другой этаж. Я пошёл со старушкой в ратушу, к командору общежития. Вёл себя очень строго. Напирал на права человека и вину немцев перед еврейской нацией. Ура! Старушку переселили. В тот же день во дворе появилась полиция с собаками. Они искали наркотики. Наутро мне сломали нос, так что Сарочка не сразу опознала меня при встрече. Она сказала, что нам придётся встречаться реже, потому что я прослыл стукачом, и появляться в общаге стало небезопасно. Через несколько дней Голда снова пришла ко мне. Ей пришлось стучать условным стуком, потому что я забаррикадировал дверь и готовился к обороне комнаты. Голда попросила меня поехать с ней в соседний город, чтобы помочь найти квартиру.

Мне было не жалко поехать с ней в город. Но для этого нужен тикет на поезд. Большую часть социальной помощи я отдавал отчиму в счёт долга за купленный мне компьютер, а другую часть проедал в первые дни месяца, а дальше питался запасами макарон и везде ходил цу фусс. А с городом такое не прокатит.

— Купите мне билет на поезд в оба конца, я с вами поеду, — сказал я Голде.

Голда в ответ буркнула что-то о погоде и ушла.

На следующий день по общежитию разнесся слух, что я вымогаю у пожилых людей гельд. Все евреи на всех этажах перестали со мной здороваться, а когда я проходил мимо, посылали мне заряд мировой скорби прямо в спину, так что спина чесалась.

Сарочка пришла ко мне как раз во время бурления этого наглого вранья. Голда, чтоб она провалилась, обработала и её.

— Ты грязный вымогатель! — заявила мне Сарочка, сверкнув серебристой скобкой во рту, и больше я никогда её не видел.

## Новый год

В 2002-м я праздновал Новый год в эмиграции.

Моим почти единственным приятелем был Петя Склярский, старенький кировоградский еврей, и праздник я провёл у него.

Квартира Пети была снизу доверху увешана любительскими картинами маслом, которые он скупал на блошинных рынках. Петя обожал всяческое искусство. Мы всегда обсуждали с ним какие-то «мазки».

— Смотри на этот мазок! — говорил Петя, указывая в нижний угол какой-нибудь картины, изображавшей, например, раскидистое дерево.

— Мазок знатный, — соглашался я. — То что надо мазок.

— А здесь? — спрашивал Петя и тыкал в другой угол.

— Мазнул так мазнул, — поддакивал я.

Я не всегда мог угадать, правильный ли сделан мазок, тогда Петя укорял меня в невежестве.

Сам Петя был бывшим директором патентного института и автором изобретений, например, чудовищного прибора под названием «рабочий орган сельскохозяйственной машины».

Рабочий орган предназначался для обрезки ботвы корнеплодов, но, в принципе, можно было резать всё.

После осмотра картин мы сели за столик, и мне был выдан бутерброд и стакан вина из пакета.

— Стихи! — потребовал Петя. — Читай стихи.

Помню, как-то я прочитал Пете стихи Лены Элтанг. Тогда она ещё не была известным прозаиком и обреталась на сайтах свободной публикации в качестве поэта.

ледяное горлышко — лазейка

из густой полуденной слюды

затерялась мокрая копейка

клейкая от содовой воды

— А хорошо! — сказал Петя. — Но декаданс!

— Почему декаданс?

— Это про очень тонкие, незаметные вещи, — объяснил Петя. — Автор любитесь клейкостью копеечки. Вот прочитай это Гришке. Думаешь, он поймет? Народ такого никогда не поймет.

Чуть позже пришёл «народ»: человек по имени Гриша с женой. Гриша был тоже не прост: он писал песни и мечтал продать их Алле Пугачёвой.

— Вот запишу кассету и повезу Алле Пугачёвой, — сообщил он. — Ты споёшь мои песни для кассеты?

— Спою.

После очередного осмотра картин (гость разбирался в мазках несколько лучше) Гриша обучил меня исполнять свою песню «Девочка в синей футболочке». Песня повествовала о сексуальном чувстве пожилого человека к случайно встреченной лолите. Почему-то музыкальная фраза в припеве была построена так, что разрывала слово «синий» пополам. Это придавало песне некоторую авангардность:

Девочка в си-

Ней футболочке...

Девочка в си-

Ней футболочке!

Я пел хорошо.

— Ты спел красивее, чем я написал, — заявил Гриша.

Гриша уже много лет жил с опухолью мозга. Врачи ещё на родине сказали ему, что скоро он умрёт. Но Гриша не умирал. Он прочитал, что в Индии всё лечат хорошим настроением. Поэтому он всё время улыбался как Далай-лама и писал песни. Никогда не читал новости, ничем не давал испортить себе день. И это работало.

Грустно выслушали речь президента. Петя бормотал «чекисты, чекисты». Мы допили вино.

— А по щекам, как слёзы алые, стекали капельки вина, — вспомнил Петя.

Это было из его собственных стихов.

Дорогие Петя, Гриша! Не знаю, живы ли вы ещё.

У этого рассказа нет конца.

Анаит Сагоян

## Киты за кухонным окном

Фрагмент из романа „Мосты горят“

Командоры — это острова, где присутствие человека — лишь случайное недоразумение, растянувшееся на несколько сотен лет. Наверно, маме было невмоготу от такого количества неразбавленной природы вокруг. От зимы, которая длится девять месяцев в году. И она тихо сходила с ума.

Как-то раз мы гостили с ней у родных в Петропавловске-Камчатском. Вернее, мы ещё не доехали к ним: продрогли на автобусной остановке, а автобусы всё не шли. И тут один подоспел, но из-за гололёда тормозной путь оказался настолько длинным, что до автобуса пришлось бежать.

— Мам, — подгоняю её, — ну же, скорее. Все места сейчас займут, — а она и спешит вроде, и нет. Приглядываюсь, а мама долго не может решиться, пуститься ли ей вдогонку или продолжить ровно ступать по плитам, не попадая меж делений.

Я помню, что делала так в шестом классе, даже в седьмом. А потом всякие подобные глупости просто выветрились из головы. На маму было жаль смотреть. Уходящая подолгу в себя, она могла забыть обо мне. Об отце. Но её сосредоточенность на уличных плитках или трещинах на лакированном столе была настолько всепоглощающей, что мы с папой просто невольно отступали назад. Нас туда задвигала некая исполинская рука и продолжала давить, чтобы мы не выбирались.

Леночка, «чаечка моя» — никак иначе папа её не называл. Он был человеком мягким. Может, даже слишком бесхарактерным. Или просто неконфликтным? По крайней мере, он был в гармонии с самим собой. И мне было с ним хорошо. Мне никогда не хотелось от отца больше, чем он давал. На самом деле давал он очень мало, если мерить по материальной шкале. Нам с ним всегда хватало снастей, ножииков, удочек, подзорных труб и другой подобной всячины. Нам не нужно было выискивать в песнях слов любви, чтобы песня была о любви.

Но однажды мы стали отдавать себе отчёт в том, что без мамы лучше в плавании, лучше сидится на берегу. Это открытие пришло как-то само: подкралось тихо, как кошка, скрутилось в клубок на коленях и заурчало. Мы редко говорили об этом с отцом. Из стыда, из чувства вины. Было проще притвориться, что мы веселимся, случайно забыв о маме, а не оставив её одну сознательно.

Однажды папа подарил мне полароид. Мы сидели на больших глыбах камней у самого берега.

— Просто я подумал, что отснимешь ты на плёнку, и потом иди, ищи, где проявлять. Здесь, в Никольском, морока целая. А вот с полароидом всё куда проще: запечатлила кита, и он прямо вот из этой щели проявленный выползает, — папа съежился, как ребёнок, в ожидании моей реакции. — Знаю, полароиды сейчас уже не в моде, — виновато продолжил он. — Слышал, даже плёнкой уже никого не удивишь. Как они там говорят... — и папа защёлкал пальцами. — Цифровые камеры, точно! Говорят, скоро они заполнят рынок. Но я подумал: у нас пока и компьютера-то нет. Как же ты тогда фотографии просматривать будешь?

— Папа, как же хорошо, что ты подарил мне именно полароид, — замороженно, почти шёпотом отвечаю я и кручу в руках большой непропорциональный аппарат.

Глаза отца загорелись. От радости он едва усидел на камне. Выпрямился в спине, потёр о колени руки.

— Я вот просто подумал: всегда что-то обещаю, а потом приходится ждать... ждать... ждать... — кажется, он сейчас вспоминал маму. — И едва ли дождёшься, чтобы мои слова перешли в дела. Так ведь обо мне говори...т... рят.

— Что за глупости, пап?

— А тут вдруг... — и он развел руки в стороны, будто кита показывал. — Полароид! Отснял кадр, ничего и никого не ждёшь, и снимок мгновенно выходит их щели. Готово!

Я обняла отца. Если не сильно задумываться, то мы были счастливой семьей. Я и отец. А если начать думать, становилось больно и стыдно.

— Я купил, кстати, много кассет. На первое время хватит. Снимай и не жалей. А потом снова поплыву на большую землю, — и папа сделал глубокий вдох, выдохнув вместе со словами: — и всё будет.

Волну за волной прибывало к берегу, а мы так и сидели на камнях. С папой было всегда очень просто молчать. Тишина не зависала над нами, как гильотина. Тишина между мной и отцом — это всегда до краёв заполненное пространство, достаточность, которую не нужно ничем сверх того нагружать. Всё, конечно, было по-другому с мамой: если мы не говорили, значит, или не хотели говорить, или настроение было плохое: именно так мама воспринимала тишину с нашей стороны по отношению к ней.

— Сидишь, молчишь... — прерывала она тишину, нависающую в комнате. — Ничего мне не скажешь.

— Мам, — отвечаю я, догадываясь о направлении её мыслей. — Я бы сейчас всё равно молчала, сиди здесь вместо тебя папа. Или даже сам премьер-министр Путин. Просто иногда хочется молчать.

— Путин здесь никогда не сидел бы.

— Кто о чём, а ты всё об одном.

— Какой всё же мужчина... Красавец. Вот увидишь, он долго на этой

скучной должности не задержится, — мама приложила пальцы к губам, вздохнув с упоением.

— И что будет делать?

— В актёры пойдёт. Изменит весь кинематограф. Какая харизма!

Вот так любой наш с мамой разговор к концу становился ни о чём. В моменты же тишины наши отношения казались куда более содержательными. Но хоть мы и общались на других частотах, всё равно ощущали себя в бескислородном пространстве.

— ...Ну поешь чего-нибудь. Что сидишь, — как-то раз, лёжа на диване, устало проговорила мама и отвернулась на другой бок, уткнувшись в стену.

— Mam, я недавно совсем ела.

— Доведёшь себя до анорексии.

— О господи. Mam, какая ещё анорексия. Я утром ела мясо, а днем — сыр. Пол-упаковки умяла. Просто успокойся.

— Ну поешь чего-нибудь. Я же плохого не пожелаю.

— Mam, мы не слышим друг друга.

— Вот, вчера в киоске говорят: мол, Мария со школы рано выбежала.

С Костей куда-то умотали. Все в школе, к экзаменам выпускным готовятся, а Машенька наша целоваться убежала.

— Однако по всем экзаменам у меня «отлично». Почти, — чинно отвечаю я, споткнувшись на последнем слове.

— А целоваться, небось, и правда тогда убежала. Не напридумали же.

Я на секунду растерялась.

— Ну убежала, — отвечаю, устремив глаза в пол.

— Ты мне тут смотри, — мама вдруг резко развернулась, угрожающе подняв палец. Но угроза её показалась мне довольной жалкой, совсем не впечатляющей. — Смотри, матери-малолетки мне на шею не нужны.

— Это от поцелуев детки рождаются? — иронизирую я.

— Ты знаешь, отчего они рождаются. И точка. Все мальчишки вокруг только и думают о том, чтобы развлечься. Никто не умеет любить. А ты себе любовь насочиняла, дурочка, — мама накрылась одеялом почти до головы и тяжело вздохнула. Я не любила эти вздохи: после них начинались причитания и обиды. — Папка твой наобещал мне в своё время горы. Помню, сидели мы у воды, а он мне наше красивое будущее описывает. В ярких красках. Я, дура, поверила. И влюбилась. А вода все его обещания и смысла волна за волной.

— Погоди, мам. Ты же пока влюбилась, а потом поверила? Или поверила и от этого влюбилась?

— Какая разница, — удивилась мама. — Так вот, поверила я, влюбилась. И пропала. Застряли мы здесь с тех пор.

— Я очень скучаю по папе, — говорю честно. — «И по тебе», — прозвучало уже у меня в голове.

— Я тоже по нему скучаю. Некому выговорить всю эту боль. Он вот раньше послушает меня, вздохнёт, головой качает и чай свой попивает. Молчит. Но слушает. А ты даже слушать не хочешь.

— Почему? Я вот слушала тебя всё это время. Хочешь, тоже буду вздыхать, головой качать. Чай пить.

— Ну поешь чего-нибудь...

А с папой молчание обрастало новыми смыслами. Как тогда, на берегу. Я тербила в руках новенький полароид, а он курил и время от времени бросал короткие смешки в сторону волн.

— Есть легенда, что у Тихого океана нет памяти... — папа любил легенды. — Океан всё смывает и забывает. Любую боль или радость. Он ничего не помнит. Знаешь, почему? Там нет людей. Страдать и любить может только человек. Это его слабости. Он это всё себе придумал. Ни один человек не уходит из жизни совершенно счастливым или совершенно несчастным. Такое просто невозможно: слишком много наслаиваемых друг на друга причин — то одно, то другое. Это всё из-за памяти.

— А разве животные не умеют любить и помнить?

— Конечно, тоже... Но они руководствуются инстинктами: обжёгся, не приближаешься к огню. Начинаешь тонуть в воде: больше не заплываешь глубоко. Родил потомство, кормил его и учил охотиться: привязался и должен огорожать его от опасностей. Ведь даже мы, люди, отдавая что-то, по сути, вкладываем в другого кусок себя. И потом инстинктивно тянемся к этому куску, потому что хотим единства, цельности. Почему, думаешь, повзрослевшие животные утрачивают связь с родителями?

— Выбрались из родительского крыла, — я смотрю на папу с благоговением, и всё Никольское село за спиной сжимается и исчезает. Мир вокруг нас обрастает образами и словами.

— Просто одни больше не нуждаются в защите, а другие — больше не могут защитить. Потому что силы уравнились. Отныне — только содействие, только партнёрство. А человек забивает себе голову любовью или ненавистью. Памятью. Да он по-другому и не может. Это его суть. Вот природа умеет отпускать. Так и океанские волны смывают память: вчера был шторм, а сегодня — штиль. Завтра снова шторм.

— А в «Солярисе» у Лема всё иначе.

— Просто Лем не писал об океане. Его океан — это, на самом деле, человек...

— Я шноре приготовила. И котлеты... — послышался мамин голос у нас за спинами.

Мы обернулись: она стояла, замотанная в шаль, слегка накинув пальто.

— Mam, застегнись. Ты с дома, а тут такая холодрыга.

— Не страшно, — тихо ответила она. — Ну пошли уже? Витя?

— Идём, идём, — важно объявил отец и стал, пыхтя, подниматься. Потерял куртку, стряхнул песок с ботинок. Казалось, что, чем больше от его суеты шума, тем глуше застрявшие в воздухе слова. Никто их не слышит, но они были озвучены: как у китов — слишком низкие звуки для человеческого уха. Вот так и жили мама с папой — как два огромных кита, общающихся на своих частотах.

— Я, если честно, проголодалась, — стараюсь вернуть назад человеческую речь.

— Хлеб нужен? — подхватил отец.

— Да купила я уже. Пошли.

Поначалу мы ужинали в тишине. Мне, конечно, хотелось говорить, но молчать было проще. Я боялась выдать чрезмерную радость или показаться слишком вежливой. Или, наоборот, быть нетерпеливой и подозрительной. Такое ощущение, что у нас на столе сдох медведь, но лучше соблюдать тишину: возможно, он всё ещё жив.

— К экзамену готовилась? Тебя в комнате было не слышно, — прервала молчание мама, после чего задёрнула бровь, как будто именно так можно лучше прислушаться к ответу.

— Да, готовилась, — на самом деле я весь день читала «Моби Дика»<sup>1</sup>, и об этом папа уже успел от меня узнать. — По физике. Весь день законы Ньютона разбирала.

— Умница, ты очень ответственная. Я вот подумала, что, наверно, только полкниги «Моби Дика» — ну это если учесть сегодняшнее положение закладки — могло бы оправдать твоё отлынивание от законов Ньютона.

— Ну опять... — я перешла на шёпот, уткнувшись в тарелку. Потеряешь вот бдительность, а мама-то продолжает за мной следить.

— Просто... — не унималась она, — если ты думаешь попасть в университет по инерции — это я о первом законе Ньютона, то зря стараешься: из этой глуши по инерции никуда не докатиться. Если ты думаешь, что тебе поможет туда попасть некий внешний толчок, — это я о втором законе, то напрасно надеешься: у нашего папы для внешнего толчка слишком пустые карманы. Если же ты по жизни хочешь пробиваться вперёд, отталкивая препятствия силой своей наглости, — закон номер три, то из этого тоже ничего не получится: девочка ты не нагая, вся в отца.

— Mam, тебе бы репетиторством заняться. Я могу развесить объявления по всему Никольскому: «Физика доступным кухонным языком». Снизу ещё припишем: «с примерами из вашей никчёмной жизни». Народу стечётся! Со всех концов села.

<sup>1</sup> «Моби Дик, или Белый кит» (англ. Moby-Dick, or The Whale, 1851), Герман Мелвилл

— Лен, дай девочке самой разобраться. Она толковая, не пропадёт.

— Что значит «самой»? На что ей тогда родители? Росла бы тогда одна, если советы не нужны.

— Дело же не в том, какие советы. А *как* их преподносят...

— ...Очень вкусно, мам. Ты прекрасно готовишь, — решительно превала я папу.

— Да-да, поужинал, кстати, с удовольствием, — папа откашлялся.

Хотелось грохнуть вилку о стол и закричать что-то несвязное, но чтобы было громко, вплоть до разрыва связок. Что же с нами не так?

— Мам, а чем ты занималась до готовки? Я же закрылась в комнате, никого не видела.

— Да так, по дому убиралась, молодость вспомнила.

— А ты и сейчас молодая, — замечаю я честно: мама родила меня рано, в двадцать один.

Она печально усмехнулась, отчего мы с папой немного напряглись. Кажется, мы только что ступили на тонкий лёд.

— Главное ведь запал, — мама собрала пальцы в кулак, чтобы подчеркнуть важность и цельность последнего слова, произнесённого с придыханием. — А если он исчерпался, то в тридцать шесть ты чувствуешь себя на шестьдесят три.

— А ты с немцев пример бери, — ляпнул папа.

— Это почему? — мама уставилась на отца. Лёд под ногами опасно трещал.

— У них что «зексундрайсиж», что «драйундзексциж» — чёрт ногу сломает, где тридцать шесть, а где шестьдесят три. Помню, дед по-русски говорил (а говорил он с акцентом, все бабы в округе падали): «мне цвайундзибциж, но я ещё ого-го!». И пока два пальца показывал, а потом — семь. Наши-то думали, старик молодится, пареньком себя выставляет. На смех поднимали, мол: «на цвайундзибциж ну никак ты, Миха, не тянешь!»

Я посмотрела пока на папу, расплывшегося в ухмылке, потом на маму с её медленно каменеющими чертами лица. Складывалось ощущение, что они общались мимо друг друга: каждый говорил вполне содержательные речи, которые даже и не предполагались быть звеньями одной цепи.

— Вот и поговорили, — едко заключила мама, спешно забрала у нас тарелки и встала со стола.

— Вот и поговорили, — эхом отозвался папа, и захлопал подушками пальцев по столу, наигрывая какой-то затёртый ритм.

— ...Ты хочешь вырастить из нашей единственной дочери такую же мечтательницу, как и ты сам, — зачастила мама уже после, стоя у окна на кухне. Я остановилась неподалёку в прихожей. — А знаешь, почему? Чтобы потом оправдываться, что не ты один такой — с луны свалившийся. Что таких, как вы,

не понимает целый мир. Все крутятся-вертятся, а вы в своих коконах. И так и будете в них до конца жизни. Ты этого хочешь для дочери? Своей судьбы?!

— Я в отличие от тебя ничего ей не навязываю. Если ей нравится со мной рыбачить, так пусть рыбачит. Нравится мечтать, пусть мечтает. Не лепи из неё себя. Вот я не леплю. Просто даю ей делать то, что ей больше по душе. Мы можем только направлять, — папа был резким и решительным. Такое случалось с ним изредка: только если в спорах с мамой или с рыбаками на большой земле.

— Ты сейчас такой... кажешься себе сильнее, чем ты есть, — кольнула его мама.

— Знаешь, ты всё же не любишь нас. Ты нас не хочешь любить. Зачем это тебе? Ты хочешь любить не нас, а наше внимание к тебе. Хочешь упиваться нашей к тебе любовью. Но где нам черпать силы на неё?

— Да ты у нас разбираешься в чувствах, — мамин тон стал невыносимо циничным. Папа невыносимо упирался.

— Посмотри, — продолжил он отстранённым шёпотом, пригнувшись к маминому уху, когда услышал приближение моих шагов. — Всмотрись, вслушайся: в тебе почти не осталось любви...

Мама замерла, каменея, стёртая и сломленная. А когда я встала уже перед ними, они снова перешли на эти свои низкие частоты. В темноте кухня казалась бесконечным океаном, а тёмные силуэты родителей едва ли напоминали человеческие тела. Я не могла ничего услышать, но они так исступлённо съедали друг друга глазами, что, пробираясь через мясо, дошли до самых сердец. А потом вцепились в них зубами и стали неистово разрывать на куски всё ещё бьющуюся плоть.

Папа вышел.

— Мам, иди, отдыхай. Я тут всё сама уберу. Мне нечем заняться, да и спать не особо хочется.

Мама вдруг спохватилась, потёрла руками плечи. Оглянулась на раковину. А потом на меня. Я вдруг вспомнила этот взгляд...

Помню, ты играла со мной в прятки. Мне было лет пять или меньше. Вокруг пританлась нескончаемая, туманная зима. Я нескладно напёптывала обратный отсчёт, зажмурив глаза. Твои поспешные шаги отдалились и стихли. Когда я открыла глаза и оглянулась, белый свет ослепил меня. Потом серыми пятнами прорисовались скалы, где-то за ними скрывались цветные крыши никольских домов. За спиной волновалось море. Над головой кричали чайки. За калиткой впереди начинались первые необжитые застройки. Больше всего мне запомнилось то, как долго ты не выходила из-за одной из них. Я не раз звала тебя и впервые испугалась очень сильно.

Ты не подавала сигналов. А зима становилась плотнее, белее. Стены необжитых застроек сдвигались всё ближе ко мне. Я больше не звала тебя, чтобы

не показаться трусихой. Вздёрнула подбородок, чтобы не заплакать. Одно я знала точно: стоит опустить голову к груди, слёзы польются мгновенно. Море было то за спиной, то сбоку, то прямо передо мной. Огромное и пустое. Оно всё более угрожающе выбрасывало на берег пенные волны. Тогда прошло, наверно, не больше пяти минут. Но этого было достаточно много, чтобы навсегда запомнить. Запомнить, но никогда не затрагивать этой темы на кухне, в зале, в спальне. Чтобы, только оставаясь наедине, всегда вспоминать об этом хотя бы мельком.

И тут ты выбежала из-за одной застройки вдалеке. Вскинула торжественно руки и побежала ко мне. Я стояла, как вкопанная. Вздёрнутый подбородок уже не помогал. Слёзы покатались одна за другой. Я поспешно вытерла их, притворяясь, что поправляю рукавом волосы из-под шапки. «А вот и я!» — вскрикнула ты тогда, добежав и схватив меня за плечи. Я запомнила твоё лицо таким, каким оно было в тот самый момент: глаза пустые, кожа стала серой, уголки губ отпали вниз, нижняя губа чуть выпятилась. Голос переходил на фальцет. Я не верила твоему голосу, не верила твоим глазам. Что-то было не так.

С тех пор прошло много лет. И вот мы на кухне, и ты смотришь точно так же. Как тогда. Но я всё меньше жду от тебя объяснений. Всё реже молчание между нами обрастает вторым дном. Однажды оно стало просто молчанием без неудобных, незвученных фраз. Просто молчанием без подтекста. Ты ушла в себя задолго до нашей утраты. А после и подавно сорвалась с последних петель.

— Знаешь, я ещё побуду здесь. Иди, иди. Завтра поможешь, — и мама снова отвернулась к окну, прижав к нему лбом.

Небо покрылось пурпурными переливами, разноцветные крыши никольских домиков напоминали растительность на дне океана, освещённую нашей кухонной лампочкой. Я смотрела на маму, а она — куда-то в окно. Там, за ним проплывали киты. Два подранка, они раскачивались и стонали. От этого дрожали стёкла, и вибрации отдавались на маминых зубах.

Один из китов проплыл совсем рядом с окном, и мы увидели кровоточащую рану у него в боку. Разрез был настолько огромным, что кровь струями разливалась во все стороны. В ране торчал якорь, а цепь его поднималась вверх и исчезала во тьме. Вскоре исчезло и само чудище.

Второй, более крупный кит метался в мутной смолистой воде, и непрерывно бился рылом о скалистое дно океана. А потом как вдруг подплыл и уткнулся в наше кухонное окно. Мама от неожиданности отпрянула. Стекло едва выдержало удара. Но она снова приложилась к окну, и долго смотрели они так друг на друга, два кровоточащих подранка, общаясь на своих частотах.

А ссоры происходили снова и снова. Однажды даже в канун Нового года. Папа был ещё с нами. Мама суетилась, что-то готовила, а потом вдруг как исчезнет на полдня в спальне. Захожу: она лежит.

— Мам, — говорю, — я уже везде убралась. Кафель в ванной вымыла. Окна тоже, — стою у двери и жду её реакции.

— А папа что делает?

— Лампочки, наконец, починил. Ёлка теперь горит.

— Ну вот и молодцы, — с апатией отвечает мама.

— Там... — не знаю, как начать, — курица полуготовая. Ты утром просто выключила газ, оставила её и ушла?..

— Да вот решила: немного передохну и продолжу.

— Тридцать первого декабря в девять вечера? Курица теперь просто непотребная. Зачем мы звали гостей? — и я взволнованно засуетилась, уже забыв о маме. — Нужно что-то быстро придумать, приготовить.

— Значит, мать всё портит. Значит, такие вот вы вдвоём герои: лампочки починили, окна отмыли. А я, мол, только и делаю, что лежу.

— Мам, ты провела здесь, закрывшись от нас, весь день... из-за... какой-то нестоящей фигни. Что нам остаётся делать? Тоже залечь и уставиться в потолок?!

Подошёл папа. Встретились они взглядами: пустыми и тоскливыми.

— Пойдём, чаечка моя. Ну что опять лежишь. Никому от этого не лучше.

Мама встала, только когда услышала нашу суету на кухне. Папа мыл посуду, я нарезала салат на скорую руку. Мы шутили и напевали «Самолёт» Валерии.

— Новый год на носу, а поём о расставании! — замечаю я.

— Хм. Вообще-то о любви.

— Как-так? Там ни одного слова о любви, — я немного снисходительно поглядываю на папу: ничего он не понимает.

— Это у Иванушек<sup>2</sup> твоих любовь только словами любви и выражается, — он по-отцовски нежно усмехнулся и призадумался. — А любое расставание — это же как раз о любви... О любимых.

*Ну кто тебя опять об этом просит,  
когда мы расстаемся навсегда<sup>3</sup>...*

Зашла на кухню мама, склонилась к стене и наблюдает за нами. Я смолкла. Папа стал нарочито громче петь, подначивая меня снова присоединиться в два голоса.

— Ну... золотце, бери тональность выше.

<sup>2</sup> Имеется ввиду российская музыкальная группа «Иванушки International», популярная среди молодёжи с середины 90-х гг.

<sup>3</sup> Текст из композиции «Самолёт» в исполнении певицы Валерии. Автор музыки и слов: Александр Шувальгин

— Ой, пап... — я устало махнула рукой. — Так, ладно. Что мне тут ещё дорезать нужно...

Ровно через год, в этот же день, папа не стоял на кухне и не мыл посуду. Не чинил лампочки. Не курил у окна. Просто собрался утром и отплыл в море. За день до того мы договорились с ним вместе покрасить стену. Я любила дела по дому, если они на пару с отцом. Это были обычно не столько дела, сколько бесконечные разговоры и песни. Тридцать первое декабря — покраска стены: так и стояла заметка карандашом на последнем дне года в нашем календаре. А он висел на той самой стене. Но когда я проснулась, мама уже громыхала посудой на кухне, а папа отплыл в море ловить рыбу.

— Какая ещё рыба, мам. Ты посмотри на шторм. Это ты его отправила, что ли?

— Я что — больная? Думаешь, сама не вижу, как за окном?! — мама не находила себе места, как-то виновато осматривалась по сторонам. Бессмысленно перебирала кухонную утварь.

— Ну почему он тогда ушёл? Не понимаю, — и я уставилась на неё. — Мам, что опять?

— Вот не люблю я твои испытывающие взгляды, ей богу. Почему ушёл? Чаечками своими любоваться. Чёрт его знает. Прилетают на борт, кормит их. Знаешь ведь его.

— Мама, сегодня ни одна чайка не прилетит к нему! — не стерпела я. — Как же вы мне надоели! Надоели, надоели...

Я тогда расплакалась и убежала в свою комнату. Там на столе лежал полароид, вокруг были раскиданы снимки китов, сделанные с папиного дрифтера. Сквозь щели в раме со свистом прорывался ветер, где-то за спиной дребезжал слетающий со стены календарь, в ушах в два голоса звенела напса с папой песня, а за маленьким окном гремело.

*Смотри, какое небо. Небо меняет цвет.  
Заставь меня вернуться, пообещай мне снег.  
Тёмные облака — скоро начнется дождь.  
Не говори «пока» — ты меня не найдёшь.*

Григорий Аросев

## Командировка в Дублин

рассказ

Посадка на рейс началась. Отдельно взятый муравейник, которому присвоили номер 6520, зашевелился и стал выстраиваться в зигзагообразную линию, стремясь побыстрее попасть в самолёт. Везде одно и то же: люди полагают, что, зайдя раньше других, они раньше других и прилетят. А может, просто хотят урвать побольше пространства на багажных полках?

Человек с чёрным портфелем ходил туда-сюда, ожидая, пока вся толпа погрузится в самолёт. Накануне он зарегистрировался на рейс, получив привычное — статус постоянного клиента позволял! — место в первом ряду, вот и не хотел лишние пятнадцать минут сидеть в самолёте. Лучше уж прогуливаться из угла в угол. Вдруг он услышал объявление: „Фрау Грюнеберг, вылетающая рейсом 6127 в Мюнхен, срочно пройдите к выходу на посадку номер 81“. Он отвлёкся от мыслей о работе и навёл резкость. У соседнего выхода одиноко и покинуто стояла девушка из авиакомпании, в надежде (вероятнее всего, тщетной) дожидаться фрау Грюнеберг. Тут же он увидел не менее одиноко сидящую женщину в деловом костюме — она выглядела совершенно отдельно. Ей явно не нужно было ни в Берлин, куда летел он, ни в Мюнхен, где очень ждали фрау Грюнеберг. Если бы не проверка билетов и контроль безопасности, которые просто так не миновать, он был бы готов поклясться, что она тут вообще оказалась случайно.

На всякий случай он вежливо уточнил:

— Вам не в Мюнхен?

— Что? О, нет, нет, — улыбнулась женщина. — У меня рейс вообще через полтора часа, я просто так здесь сижу.

— Понятно, — протянул человек с чёрным портфелем. — А то тут такая драма — фрау Грюнеберг ждут.

Тут же, как по заказу, одинокая девушка у выхода номер 81 повторила своё заклинание.

— А куда вы летите, если не секрет? — поинтересовался человек с чёрным портфелем.

— В Дублин. Простая командировка. Но билетов на прямой рейс из Гамбурга не было, поэтому пришлось ехать через Кёльн. С пересадкой...

— Скучаете?

— Есть немного... А вы в Берлин?

— Да, я там живу, тут тоже в командировке...

— Счастливого вам полёта!

— Спасибо! — ответил человек с чёрным портфелем и, хотя фраза женщины, летящей в Дублин, подразумевала прощание, почувствовал желание продолжить разговор. — А как вас зовут?

— Шонхольц.

— Фрау Шонхольц... — начал было тот, но женщина его тут же перебила.

— О, не называйте меня так. Это я по привычке, извините. Лучше просто Хайке. Раз уж мы разговариваем...

— Постойте, я только что понял. Вы что, летите в командировку в пятницу вечером? Да ещё и в Дублин, чёрт знает куда?

— Не спрашивайте. Да...

— Но фрау Шонх-х... То есть, Хайке, почему?

— Это долгая история. Скажем так: моё слабование, а ещё всем известно, что у меня никого нет... Ох, извините, я слишком много болтаю. Это никого не интересует. Простите. Я даже вашего имени не знаю.

— Кристиан. Но раз уж вы и фамилию свою назвали, то и я свою скажу: Ланг.

Он так и стоял, как будто нависая над ней. А она сидела, повесив плащ на выдвинутую ручку небольшого чемоданчика.

— Кристиан, вы не должны идти на посадку? — спросила Хайке.

— Я люблю последним заходить. Но если вы настаиваете, я пойду.

— Нет, наоборот. Посидите со мной чуть-чуть.

Ланг взглянул — очередь к его выходу изрядно уменьшилась, но у него в запасе ещё было несколько минут.

— Охотно.

Он присел рядом с Хайке, поставив портфель себе на колени.

— Знаете, Кристиан, иногда мне кажется, что я — самый среднестатистический человек в мире. Самый заурядный.

— Почему?! — изумился Ланг.

— Со мной никто не заговаривает. Вот так, как вы. Меня не замечают. Я создаю толпу, а зачем общаться с толпой?

Ланг, не зная, что ответить, промолчал.

— Я так изумилась, когда вы обратились ко мне! Знаете, даже... Какая-то надежда появилась.

— Надежда на что?

— Не знаю. Да, вы правы. Это ужасно тупо... Вы сказали, что в Берлине живёте? У вас там семья?

— Была, но уже нет. Всё грустно, Хайке.

— Интересно, а есть ли хоть один человек, у которого не всё грустно? Такое ощущение, что нет.

— Только грусть у всех разная.

— О чём-то таком писал кто-то из русских авторов, кажется, Толстой.

— Цитировать Толстого в аэропорту — вещь не стандартная, — улыбнулся Ланг.

Хайке тоже улыбнулась, но скорее формально.

Кристиан снова посмотрел в направлении своего выхода. Очередь исчезла — оставалось от силы человек пять. Ланг вскочил.

— Хайке...

— Да. Я всё понимаю. Ничего не говорите, пожалуйста. Хорошо?

— Я хочу вас обнять, Хайке.

— Я тоже хочу этого. Поэтому не надо. Будет слишком больно. Просто идите на посадку. И простите меня за идиотский разговор. Пожалуйста. Простите.

— До свиданья, Хайке...

Ничего не понимающий Ланг вскочил, чувствуя себя словно после мощного удара по голове. Как в тумане побежал к выходу на посадку, как во сне вытащил телефон с посадочным талоном и приложил его к устройству, как в бреду пробежал первую половину „рукава“, зачем-то схватив со стойки газету... Потом обернулся. Хайке, стоявшая у огромного окна, сигналила ему рукой, а затем, убедившись, что он её видит, стала показывать различные комбинации на пальцах — то выставила один палец, указательный, то сразу несколько на двух руках...

Если бы он только понял, что она таким образом пытается ему продиктовать свой номер телефона! Если бы он только это понял!

Алёна Тайх

## Новый узор на денёк

\*\*\*

*вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? (Быт. 22)*

Есть огонь и дрова, а барашка ты мне нарисуй,  
Или песенку спой мне о нем, нежно трогая струны.  
Так ли плачется странникам в семь очищающих струй,  
И тихонько смеются в слезах отражённые луны?

Есть огонь и дрова, но барашек так рвётся из пут,  
Будто знает, что сказка о нём не для взрослого сердца.  
Вот растаял дымок, и не страшен обратный был путь,  
Не тернист и не долог в сияньи песчинок и терций.

Вот и дом, лишь спуститься с горы, а барашек уснул,  
Жив по воле ребёнка, его усмотреньем монаршим...  
Никакая не жажда, а плач морщит кожу у скул  
Старика. Или взрослого. В общем, того, кто постарше.

\*\*\*

что, дунька, как тебе европа,  
да, ладно перейди на мат;  
за коп. воды, за три — с сиропом  
плеснёт застойный банкомат.  
а что ещё там выдавали,  
какие тайны и люлей...  
ни молотов, ни наковален  
уж нету тех. но ты налей.  
налей и мне, дружочек дунька,  
и я, святая простота,  
наивно богатила думкой  
что нам без старости до ста,  
что, коли живы, привыкаем.

сожги кораблик утлый мой,  
спасительница навсикая,  
мираж на полпути домой.

\*\*\*

скрипач на крыше  
стрелком не стал.  
скрипач не нужен, скрипач устал,  
но крыши это  
такой мир:  
то  
взлетишь — и лето  
твой камертон,  
то вдруг зависнешь,  
вдыхая синь,  
в которой весь наш  
кувшинчик сил,  
смычок сам-друг и  
сачок для снов.  
цветные дуги  
не растрясло  
в воздушных ямах.

спустишь, и вот  
тебе для самых  
высоких нот,  
где луч застрянет  
рассветно-рыж,  
певучий странник,  
ухабы крыш.

И работа подённая —  
Что ни день, то урон.

\*\*\*

Богу угодны такие дома, где девушка Фанни,  
 Тихо сидела в Богу угодном кресле,  
 На угодных Богу колесах. Совсем не в храме  
 Сидела Фанни, тихо мечтая о маме,  
 В чьей утробе глаза Фанни умерли и не воскресли,  
 В чьей утробе так странно скрючило дух и плоть.  
 Приходила мама, и дух распрямлялся в теле,  
 Двадцатисемилетнем. Это было подобно чуду:  
 Она отвечала не „да“ и „нет“, а „хочу“ и „не буду“.  
 Давала себя уложить, валялась в постели,  
 Радовалась, дёргала себя за рыжую стрижку.  
 Персонал заглядывал: не было бы припадка.  
 Соглашалась на воду без сока, пересаживалась, играла,  
 Лезла в сумку рукой и предметы там узнавала,  
 Нюхала, ела яблоко и говорила „сладко“.  
 А потом и вовсе: мальчик-нянь садился за пианино,  
 Поскольку студент и умеет. Звучала церковная песня.  
 Мама теперь уходила. Красивая и моложавая дама,  
 Муж, престижная должность, дочь Фанни, у которой прекрасная мама.  
 Оставались студент-нянь, я и Фанни в своём детском кресле...  
 Фанни, всё еще ожившая, пела, плакала и смеялась  
 В мирах звуков и запахов, в тех прекрасных, несметных...  
 Был подчеркнуто женственен мальчик из персонала.  
 Мне подумалось, что цыгана нам не хватало,  
 Чтобы спеть квартетом бессмертных.

\*\*\*

пляс скромных балясин, балкончик висит,  
 отбита валюта не в такт  
 декору стены вторит „до, ре, ми, си“,  
 не делая даже антракт.  
 вот ветка отбросит тенистую плеть,  
 под птицы чирик „покорми“...  
 и лифт в этом доме — суровая клеть,  
 что клацнет не в шутку дверьми,  
 и вышедший будет твердить о родстве  
 в осенний струящийся тлен.

а школьница будет брести по листве,  
и юбочка ниже колен.  
потом на уроке, покончат с „жи-ши“  
мелок и доски антрацит.  
советские люди просты, хороши,  
а плох лишь один дефицит.  
так память твердит не поверившим нам,  
кино, адреса, имена...  
опять аркатурных задумчивых гамм  
встаёт ей навстречу стена.

\*\*\*

Как ветрянкой забытою болен  
И ботаник и воин и волен  
Знать что кожица снова кора  
Непосильная стайке пираний  
Вот и лёгких пора умираний  
И нетрудных рождений пора  
Пересохла июньская фляга  
Что ты в руки возьмешь кроме флага  
С переломом привычным древка  
Одуванчик уже это лето  
От цыплёнка прошёл до скелета  
В два дыханья  
В два легких рывка  
Баннный лист в небе парком и голом  
А ещё чистотел частоколом  
А ещё усечённый пенёк  
Что трухлявым назначен и вскопан  
И вертявым дном калейдоскопа  
Стянут в новый узор на денек

\*\*\*

Вечер парк птичий свист на горячем поддоне плачет запахом лист как растёртый в ладони это просто жара твой солёный орешек уходи из вчера из чернухи из пешек в никуда в синий дым в запестревшую гибель где-то есть гулкий Крым и ничтожная прибыль быть усталым и злым не встречая упрёка заплетая в узлы нить пустого урока ни о чем просто так не усвоишь не страшно

серый в яблоках лак он речной он вчерашний раз уж гол как сокол то не стал  
тебе впору тороватый Подол подоткнутый под гору

\*\*\*

он начинает урок словами „я верю в лучшее в вас“  
класс понимает иронию это последний класс  
тихо дрочат свои гаджеты а другое вон тот у стены  
семеро будут успешны трое из них умны

почему бы не верить в лучшее в людях и в нас и в них  
*angry bird* подлетает к доске превращая её в триптих  
религиозного содержания  
тетради собрать как оброк  
звонок с урока истории  
это последний урок

### Детская площадка

Чистенькая площадка для игр, увенчанная  
каравеллы грубоватым фанерным подобием,  
качели не скрипучие и не увечные,  
а песочница не просто, а с учебным пособием.

Борька любит “кораблик”. Приходится ехать в автобусе,  
мусоля свои мысли, отгрызаясь на его дискант звонко-девичий...  
Обстоятельства места привычны на этом глобусе,  
а другого не завезли, как известно. Но это мелочи.

Есть время пережевать своё бремя воскресного  
папы. Эмигранта-не-из-удачливых, старая песня, а?..  
Даже малой различает машины окрест него.  
Выучил сам, всё-таки память в тебя — чудесная.

Да-да, не крут. Но и жизнь дана тихая и пологая,  
тебе амбициозному, грустному и не цветистому...  
Детская площадка под окнами детской же онкологии.  
Со странным стыдом помнишь: мы едем из дому...

Михаэль Шерб

## В саду идей

### Я прошу прощения...

Я прошу прощения у цветущей жимолости, у мелющих жерновов,  
У жизни прошу прощения и у смерти любой. На коленях и стоя,  
Прошу прощения за несовершенство своё и своих слов,  
И за то, что не знаю, где я, и за то, что не ведаю, кто я.

И за то, что не знаю почему я здесь и чего я хочу,  
И не знаю ответа на вопросы «куда идешь?» и «кому служишь?»  
Я могу лишь свечу зажечь, а после — еще свечу, —  
Миновавшую жизнь приготовить себе на ужин.

Я помню, как тени с деревьев бросались на шею мне,  
Я помню, как свет воссиял между ровных грядок,  
И то, и другое предшествовало войне, —  
Битве за хаос, или борьбе за порядок, —

Я не мог различить. А впрочем, не всё ли равно,  
Если знаешь ответ на вопросы: «Кого ты любишь?», «Кому ты веришь?»  
Я смотрел черно-белый фильм — и видел цветное кино,  
Я был на балете в Большом — там в экстазе танцует дервиш.

### Огарок

Спешил, — белоснежный и чистый, —  
Как прежняя русская речь,  
На лапах еловых лучиться,  
Платанам на плечи прилечь

Кружась меж домов и соборов,  
Обзор заметал, невесом,  
Расставил фарфоровый город, —  
Сервизом на сотни персон.

Слетал на косынки и шубы,  
На выбоины мостовой...

Постой, не облизывай губы,  
Не прячься в подъезде, стой!

С кислинкою запах сосновый.  
Морозно ль щекам? Горячо.  
Чего ж так не терпится — новый?!  
Ведь этот не старый ещё.

Пока он исполнен свеченья,  
Бордовой припухлости гланд,  
Пусть выложит слово «сочельник»  
Лампадками тусклых гирлянд.

Рассветов густая заварка  
И сумерек ранних ленца...  
Пусть жалость свечного огарка  
Во мне догорит до конца.

## Сны

Под зимним небом заварным  
Не сладко ль птицам спится?  
Соткали новый саван им  
Рождественские спицы.  
Уснули птицы — не буди,  
Уснули человеки, —  
И стала кожа на груди  
Прозрачнее, чем веки.

Через прорехи этих век,  
Запрета не нарушив,  
На стужу смотрит человек,  
Душа глядит наружу,  
Не различая сквозь печаль  
Склонившиеся лица.

Меж облаков проходит вдаль  
Луна, как проводница,  
Оставив тучи зависать  
Над городской чашкой,  
Трущобы превращать в леса,  
Особняки — в стекляшки,  
Метать морозную икру  
На чистые салфетки,  
Пока по стенам на ветру  
Слепые шарят ветки.

Стряхнул на землю пух и прах  
Протяжный выдох горна:  
Летит пространство на саях  
В далёкое просторно,  
Где видит перистые сны  
О журавле синица,  
И пряжа тонкая зимы  
Позёмкою струится.  
ухмыляясь, месяц тонкий...

Ухмыляясь, месяц тонкий  
Уплывает за карниз.  
Свет просыпан из солонки:  
Резок, бел, крупнозернист.

Наши жесты пахнут мылом, —  
Так фальшивы и грубы.  
Расставание уныло,  
Словно прыщик у губы.

Друт без друга, бук без дуба —  
Девять лет ли, сорок дней?  
Я Гекубе иль Гекуба  
Мне тебя теперь родней?

Что ж осталось между нами,  
Старшемладший брат-чужак?  
Вот застряло меж зубами, —  
И не вытащить никак...

**Б. Н.**

Убитый зимней ночью на мосту,  
Он не успел заметить выстрел в спину,  
Но оказался через пустоту  
Перенесённым к земляному тыну  
В иной, нечернозёмной полосе:  
Горит на лбу верёвка шрамом алым,  
На языке — трава, вкуснее всех  
Возможных слов, — и тех, что прежде знал он,  
И тех, что неизвестный человек  
Теперь над головой его бормочет:  
Пускай невнятен странный диалект,  
Зато понятен общий смысл пророчеств.  
Сей жребий от него не отведёт  
Ни смерти, ни предвосхищенья чуда.  
И он бежит назад, потом вперёд.  
Потом летит... Куда летит? Откуда?

**В саду идей**

В саду идей  
Спит иудей,  
Не видя снов,  
И думает: «А был ли пуст  
Тот куст,  
Когда он загорелся,  
А может, жило в нём счастливое семейство  
Весёлых птиц иль шустрых грызунов?  
Не повредило ль им куста горенье?»  
Он видит: словно алое варенье  
Стекает с веток, пламенем объятых,  
И понимает: будет смерть густа  
И глубока, как ров, в который крик пернатый  
Слетает с ежевичного куста.

## Пятница

Ни мига не терял, пока ходил под небом.  
Была земля его напором смущена.  
Он разбивал сады, и глобулы молекул  
проращивал легко, как семена.

Он отдыха не знал, пока в ночи бессонной  
гудел огонь вулкана, как гобой,  
и познавал накал упорной, изощренной  
борьбы, но не с другим, а лишь с самим собой, —  
вновь создавал цветы, но были их бутоны  
покрыты, как глазурью, скорлупой.

Он больше ждать не мог, он так хотел увидеть  
их нежность и задор, их формы и цвета,  
что, позабыв о сне, стоял у верстака,  
составы смешивал и раздувал горнило,  
чтоб гибкость стебля и полёт листа  
соединить в неразделимый сплав, —  
и, сотворив перо, его макнуть в чернила, —  
и вот уже рука по воздуху чертила  
стремительность крыла и лёгкость птичьих стай.

Он снова создавал, и снова рвал на части,  
то в тигле расплавлял, то снова сквозь валки  
прокатывал, и, словно непричастен  
ни к замыслам своим, ни к мастерству руки,  
смотрел без восхищения, без страсти,  
как в чашечке цветка кошачьей пасти  
тычинками прорезались клыки.

## Май

Под вишнями не стол — столопотам,  
Гудроном пахнет тёплая клеёнка.  
Весенний свет похож на оленёнка:  
Дрожит и прислоняется к стволам.

По папиным премудрым чертежам  
Мангал был сварен из полосок стали,  
Глядишь, прищурясь, на огонь в мангале  
И жар в лицо, и холодно плечам.

Попсу играет радио «Маяк»,  
Гудит пчелиный улей обертоном.  
Распахнутым цветастым балахоном  
Висит весна у сада на ветвях.

## Сад

Покуда на скамейках стар и млад  
Вкушают солнце, нежатся в затишье,  
Весна тайком сооружает сад,  
Возводятся трава, сирень и вишни.

Прислушайся к строительству цветов,  
И ты услышишь, если слух твой тонок,  
Натужный скрип канатов-черенков,  
Ритмичный стук бутонов-шестерёнок.

Недюжинны усилия лозы  
Удрать побегом из двумерных клеток,  
Вставляя стебли в новые пазы  
Казалось бы, навек уснувших веток.

Воздвигнется мой сад, стеклянный куб,  
Вместилище для соловьиной ночи,  
Не известно — пылью коснется губ,  
Притронется к щеке ветвями строчек.

Оправленный грозой в ночной графит  
Украшенный созревшими плодами,  
Мой сад однажды над землёй взлетит,  
Соединится с лунными садами.

## ЛИЦО ДОЖДЯ

Не скучно наблюдать, как всходит рожь,  
Как тёмный голубь чертит в небе кистью,  
Волнами по ветвям проходит дрожь, —  
Так крестит дождь младенческие листья.

Уже обувшись и надев пальто,  
Задумалась и, зябко сторбив плечи,  
Стоишь одна и щуришься в окно,  
Глядишь в лицо дождя, как в человечье.

Пока в прямоугольнике окна,  
Весенний шар качается на грани, —  
Ты — неподвижна: ты заключена  
В хрустальной сфере собственных мечтаний.

Взмахнёшь рукой, чтоб прядь убрать с виска,  
Которая твой взгляд пересекает, —  
И в этом жесте бледная рука  
Надолго, словно в гипсе застывает.

Наш город превратился в водоем,  
И дождь теперь по водной глади хлещет,  
Внутри ковчега мы с тобой живём,  
Но только не зверёе вокруг, а вещи.

Нас стены облегают, как бинты,  
Закрыты двери, словно створки мидий.  
И больше нет в квартире пустоты,  
А если есть, то мы её не видим.

## Ирония

На солнце гляжу сквозь кроны я:  
Сгорает листва в кострах.  
В стихах, как везде: ирония  
Лишь прикрывает страх.

За свечи, за их свечение  
Ночь предъявляет счет.  
Страх перед исчезновением.  
А перед чем же ещё?

Торжественно и степенно  
В забвенья палеолит  
Спускается память ступенями  
Разбитых могильных плит.

Но, даже уже прижаты  
Ко дну земляной волной,  
Спасаем имя и даты,  
Держа их над головой.

Юлия Брык

## Моё имя в тисках

### Сентябрь. Море. Башня

Византийским узорчатым сводом древних арок и легких мостов,  
Шелестящим шорохом юбок и движением плавным купцов,  
Еле слышно скользя по каналам, и морскую лаская гладь  
Пробирается осторожно в масках Гоэци людская знать.

И закатное солнце шурится от холодного блеска камней,  
Или глаз, что под маской черною, ятагана клинка острей.  
Лишь узнать тебя невозможно мне- среди сотен плащей и духов  
Исчезаешь за поворотами, ускользаешь в обрывках снов.

И брожу я по вольной гавани, и беседую долго со львом  
О часах, море и башне. И о том, что было потом.

\*\*\*

Разрываюсь я тобою, на остатке чувства- горе,  
Разрисована рукою, утонула в красном море.  
Может, осень виновата, что в кострах сгорают судьбы?  
Хоть кусочек нашей встречи повернуть...или вернуть бы.  
Одиссеи возвратились всё с того же поля боя-  
Вон, стоят у перекрёстков, ждут свидания со мною.  
У киосков на проспекте в неразрывной связи с миром,  
Утопая в чёрном свете, бродят в шубах Прозерпины.  
Раскрываются как раны двери модных магазинов...  
Что-то лиц я их не помню- может, просто амнезия?  
Я иду как все спокойно, внешне даже безразлично,  
И смотрюсь я так приятно, в связке с ними органично...  
Если вдруг тебя увижу- хлопнет сердце, как винтовка.  
Эх, любовь моя- старуха, злая подлая чертовка!

\*\*\*

Моё имя в тисках, моё имя на «я»  
И мне нечего взять, кроме пуль и огня.  
Опоздала на час- не заметила и  
Я теперь без ума от листвы и тоски.  
На столе семь часов и ещё календарь.  
Отвратителен воздух, сигаретная гарь.  
Кто-то курит меня – дым идёт в потолок,  
Есть ещё пара дней, сжатых в горле в комок.  
Есть ещё пара слов- не допить, не доесть,  
А вернуться нельзя и обратно не влезть.

---

Rainer Maria Rilke

### Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,  
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;  
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde  
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.  
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen  
unendlich sanft in seinen Händen hält.

Райнер Мария Рильке  
*Перевод Анатолия Замиховского*

### Осень

А листья падают с небесной высоты,  
Как будто там, на небе, увядают  
Далёкие сады. Они слетают

Танцую и, качнувшись, замирают,  
Поцеловав тяжёлый шар Земли,  
Что средь созвездий вечный круг свершает

И в бездну одиночества скользит,  
А всё вокруг, опавшими листьями

Скользит ему вослед. Но есть над нами  
Тот, чья рука нас бережно хранит.

Максим Кашеваров

## Хроника притяжения

рассказ

*Он и она* — с чего начать? Что ж, впервые *они* встретились в Германии на русском поп-рок-концерте. Выступавший коллектив «Фарфор Фюрера» возник сравнительно недавно — впрочем, за несколько лет существования уже успел распасться и вот теперь вновь воссоединиться ради тура по Европе, таким незатейливым коммерческим трюком вызвав невероятную эйфорию у почитателей.

Итак, ему недавно исполнилось двадцать семь, *ей* было за тридцать, и между *ними* не было ничего общего, кроме, разве что, отсутствия интереса к выступлению на сцене: *он* оказался на концерте случайно, воспользовавшись предложением для встречи с одной рыжеволосой фанаткой творчества «ФФ», с которой слишком долго переписывался онлайн (и которая так и не пришла — по причине сильнейшего желудочного отравления). А *её* притащил русский муж, уверявший, что музыка *ей* понравится, а тексты — не самое главное.

Группа рассчитывала представить в первую очередь новые, гораздо более экспериментальные композиции, однако поклонники желали слышать исключительно старые хиты — и, узнавая их по первым аккордам, начинали реветь и подпрыгивать от восторга, пьяным хором перекрикивая оригинальное исполнение. И как раз когда со сцены зазвучали строчки, где рифмовались «лубликанты» и «теории Канта», *он* в очередной раз нервно огляделся в поисках своего свидания — и взгляды их встретились. В это мгновенье один из софитов над залом взорвался, предсмертной вспышкой озарив всё вокруг — и обнажив *его* и *её* мысли. Пока из помещения выводили нескольких пострадавших от осколков зрителей, очень многое в жизни этих двоих сразу приобрело смысл: *он* неожиданно понял, почему иммигрировал именно в Германию, почему согласился на работу именно в этом городе, почему пришёл именно на этот концерт. А *она* так испугалась осознания того, почему связала себя узами брака именно с русским меломаном, что немедленно потушила взор и так сильно схватила мужа за руку, что тот вздрогнул, а потом усмехнулся, решив, что совместная вылазка была прекрасной идеей. *Он и она* отвернулись и одновременно замотали головами, чтобы избавиться от бредового наваждения, которое (как *они* предположили) было не более чем последствием комбинации крепких коктейлей; и всё же *они* ещё раз или два с тревожным любопытством бросали косые взгляды друг на друга.

Несмотря на то, что концерт продолжился, исполнители были сбиты с толку случившимся, стали негромко переругиваться между песнями и под

конец предпочли вообще не выйти на бис, чем крайне разочаровали публику. Возмущенная толпа хлынула к выходу, и, растворившись в ней, они потерялись из виду. И оба тогда понадеялись, что — навсегда.

Но забыть не смогли.

Ясным весенним днем две недели спустя *они* столкнулись на блошином рынке, расположившемся прямо на проезжей части одного из центральных переулков. Среди палаток с пивом и стендов с самодельными украшениями из кожи, оглохнув от пошлых шлягеров и праздной болтовни, *она* искала подарок сестре на день рождения, а *он* просто добирался после работы домой, отказавшись от обходной дороги по параллельной улице. После того, как оба взглянули друг другу в глаза, они замерли и не смогли притвориться незнакомцами. Задавшись мучительным вопросом, почему сегодня на *ней* именно эта застиранная блузка, *она* криво улыбнулась, *он* же приветственно поднял руку — и *им* обоим показалось, что в этот миг земля сотряслась и грянул гром. Только то были вовсе не тектонические процессы и даже не атмосферные явления: чуть дальше по улице произошёл первый в городе террористический акт (ответственность за который позже взяла на себя одна запрещённая религиозная организация). Взрывчатка была заложена под каруселью как под «рассадником греха», и когда прогремел взрыв, выжившие страшно закричали и стали разбегаться в разные стороны. Из окон близлежащих домов дождем посыпались стекла, в припаркованных машинах завывали сигнализации, а переулок заволокло белым не то дымом, не то облаком пыли, и прежде чем они сообразили, что происходит, *его* сбили с ног спасавшиеся бегством. *Он* больно ударился затыком о бордюр мостовой — и последнее, что *он* увидел до того, как окончательно потерял сознание, был исполинский силуэт некоего добропорядочного гражданина, подхватившего *её* на плечо и скрывшегося с *ней* в расплывающемся тумане...

В больнице у *него* диагностировали шок; впрочем, сильной травмы головы обнаружено не было, и *он* скоро вернулся домой. Теперь *им* овладела решимость во что бы то ни стало разыскать *её* — для чего *он*, как истинный современный принц, зашёл в интернет и принялся изучать в социальных сетях списки гостей прошедшего концерта. После ознакомления с несколькими сотнями женских профилей разной степени откровенности *он* уже было отчаялся, как вдруг обратил внимание на один — с невзрачным именем и тираннозавром в медицинском белом халате на аватарке. Это действительно был *её* аккаунт. Убедившись, что *она* жива и здорова, *он* напряженно, до конца, просмотрел все опубликованные на *её* странице смешные видеоролики, прочитал статью о сборе подписей в защиту какого-то местного профессора, долго исследовал фотографии семейных путешествий на Гоа и почему-то в Узбекистан, сияясь даже в истории «лайков», словно в почерке, разобрать *её* характер. Но в итоге выяснил лишь одно: у *них* совершенно не было общих интересов и вкусов. Ни в кино, ни в

литературе, ни в музыке — даже в политике *они*, судя по всему, придерживались разных убеждений. О чем говорить, если *они* и внешне не подходили друг другу?! *Она* была высокой, худой германкой с длинными прямыми волосами, *он* же — низкорослым, кучерявым иностранцем со склонностью к полноте и неприязненным отношением к немецкому менталитету. *Они* не были похожи ни на знаменитостей, ни на бывших, ни на родителей — так что, сердцу и разуму не было за что зацепиться, зато тело знало, что *они* должны были быть вместе. То была необъяснимая страсть, которая поначалу смущала *их*, а затем постепенно стала сводить с ума.

Волнуясь как школьник и чертыхаясь вслух, *он* написал примерно семнадцать разных вариантов сообщения: первое было глупейшим, вроде «Привет, как дела?»; пятое было самым развернутым, с описанием его биографии и перечислением всех регалий; одиннадцатое было в стихах, а двенадцатое было самым грубым, с прямым предложением секса. В результате, *он* остановился на том, где спрашивал, обратила ли *она* на него на концерте внимание и, если да, не хочет ли пересечься с ним на кофе.

Получив *его* записку, *она* кивнула самой себе, словно только этого и ждала, и, недолго думая, ответила русским «Да!». Весь оставшийся день *она* размышляла, не слишком ли опрометчиво было с *её* стороны поставить в ответе восклицательный знак.

В условленный час *он* сидел за столиком в кафе и читал русскую прессу, где, среди прочего, сообщалось, что после единственного выступления в Германии группа «Фарфор Фюрера» вновь распалась (видимо, на «Фарфор» и на «Фюрера»). *Он* смял газету и начал фантазировать, как *она* сейчас, возникнув из ниоткуда, подойдет и сядет по правую руку от него. А что, если это будет не *она*? А *её* муж? Тот вполне мог завладеть *её* смартфоном, прочитав сообщение и жаждать теперь наказания дерзнувшего. Пока *он* предавался воспоминаниям о том, как дрался много лет назад в другой стране, в совсем другой жизни, — в дверном проеме появилась *она*. На этот раз улыбнулся *он*, а *она* попыталась повторить тот приветственный жест рукой, какой *он* сделал при последней встрече.

И всё же, прежде чем *он* успел приподняться, чтобы отодвинуть для *нее* стул, — *ей* на шею, с невнятным бормотанием, бросилась некая встрепанная девица и увлекла *её* по направлению к барной стойке. Выяснилось, что то была старая приятельница, как раз узнавшая у врача свой страшный диагноз и надеявшаяся найти забвение в алкоголе. Приятельница говорила, говорила, называла «счастливой случайностью» тот факт, что *она* зашла именно в это заведение, потом плакала, потом истерично смеялась, заставляя каждый раз вздрагивать официанта. А *она*, сидя к *нему* спиной, в основном молчала и лишь изредка поглаживала подругу по плечу. Наблюдая за этой сценой, *он* словно

находился на операции под неудачной общей анестезией — всё видел, слышал звуки вокруг, испытывал боль, но не мог закричать об этом в голос. *Он* допил кофе, через какое-то время молча расплатился и вышел на улицу. Яркий свет и транспортный шум заставили *его* ненадолго зажмуриться.

Когда *он*, уже в нескольких кварталах оттуда, пристегивался на заднем сиденье такси и произносил свой адрес, в машину внезапно запрыгнула *она*, запыхавшись, с шумом, шелестом, множественными шорохами своего несуразного плаща, опустилась рядом и, наконец, перевела дух, упорно не глядя в его сторону. Поперхнувшись собственным голосом, *он* повторил адрес — и машина тронулась. При этом душный салон наполнился такой звенящей энергетикой, что даже таксист угадал, что радио лучше выключить (где как раз рассказывали о невероятной вспышке криминала в городе за минувший час).

В накаленной тишине *они*, каждый глядя в свое окно, задыхались от разливавшегося по телу предвосхищения. Хотя оба, несомненно, были слегка сконфужены, поскольку ничего подобного с *ними* никогда не происходило: *он* вспоминал, убрано ли у *него* дома; *она* размышляла, стоило ли в подобной ситуации начать непринужденную беседу, скажем, о погоде или проблеме беженцев. Не выдержав, *они*, будто невзначай, соприкоснулись пальцами на сиденье между *ними* — и миг одернули руки, так как обоим больно ударило током. По недомыслию предположив, что дело всего лишь в статическом электричестве от одежды, *они* от испуга и облегчения громко захохотали, тотчас забыв о напряжении между ними. Всё стало простым и не требующим объяснений — однако взрыв смеха за спиной оказался настолько неожиданным для отвлекшегося водителя, что такси незамедлительно врезалось на перекрестке в борт белого лимузина с лентами на капоте.

*Они* покинули машину несколько огуленные. Таксист с окровавленным лицом заглядывал в окна свадебного лимузина и надрывно причитал; вокруг быстро собиралась толпа зевак. *Она* оглянулась, сделала в голове какие-то нехитрые вычисления и, решительно взяв за руку, потащила *его* в сторону отеля, выглядывавшего из тени платанов на углу. Следуя за *ней*, *он* чувствовал себя маленьким мальчиком, ведомым родительницей на закланье в парикмахерскую, и даже прикинул, насколько уместно будет немного посопротивляться и поныть.

Позже в номере *они* раздевались по обе стороны кровати — нарочито медленно, тяжело дыша, с жадной, нечаянной вседозволенностью разглядывая друг друга. Казалось, *они* сдерживали бушевавшие желания, боясь напугать самих себя. И когда *они* покончили с одеждой, то обошли кровать и стали тихо сходитья, ощущая босыми пятками жесткий ворс дешевого коврового покрытия и прикрывая глаза перед назревающим первым поцелуем.

В этот почти трогательный момент на *её* мобильный позвонила сестра. *Она* сразу же бросилась к телефону, точно после всего произошедшего

догадывалась, что ничего хорошего подобный звонок сулить не мог. И действительно: закончив разговор уже на полу, сжавшись голым комочком у минибара, *она* глухо произнесла, что только что умерла её мать. *Он* промямлил что-то о соболезнаваниях, сообразив, что ни о каком соитии речи больше быть не могло, а *она* заплакала, сама не отдавая себе отчета, были ли это слезы лишь из-за случившегося горя, которое *она* ещё была не в состоянии осознать, или отчасти из-за очевидного факта, что *они* были парой, которой не суждено было быть вместе. Карма, судьба, проклятие — называйте, как хотите: стыдливо-суетливо одеваясь, *они* понимали без слов, что *им* не стоило больше встречаться, ибо каждый *их* шаг навстречу друг другу грозил несчастьями для окружающих.

С тех пор *они* долго не виделись. Теория о разрушительной силе *их* близости легко находила подтверждение в повседневной жизни: *они* могли, например, на протяжении дней слышать в теленовостях только позитив о подъеме экономики, новых открытиях в науке и технике, торжественных свадьбах королевских особ. Но стоило *ей* задуматься о *нём*, а *ему* — лишь представить её рядом с собой, вспомнить ложбинку над ключицей, оголившейся ещё тогда, на концерте, как тень опускалась на экран телевизора: стремительные падения мировых валют следовали за цунами и ураганами, уносившими сотни жизней, а перепуганные ученые пожимали плечами, столкнувшись с ужасными, доселе неизвестными эпидемиями. Тогда *он* включал порнографию и старался утешить себя мыслью о том, что у других девушек тоже бывают ложбинки, а *она* погружалась в хлопоты в связи с распродажей вещей из маминной квартиры.

Вопреки всему, вожделение изнуряло: болезненная зависимость от того, что *они* никогда не пробовали и вряд ли смогут попробовать, погрузила *их* в темный, жаркий морок, мешавший воспринимать реальность адекватно. *Он* сильно похудел. *Его* друзья, ощущая себя чудаковатыми второстепенными персонажами романтических комедий (и тем самым катастрофически перепутав жанр), как умели, выражали сочувствие и предлагали помощь. У *них* даже нашлись общице немецкие знакомые, которые никак не желали понять *его* страданий, утверждая, что *она* «прибабахнутая филателистка с лошадиным лицом».

*Ее* подруги, естественно, так ни о чем и не узнали, благо после свадьбы *их* осталось немного. Разве что коллеги по лаборатории, где *она* работала, отметили неожиданный для *нее*, особый садизм в экспериментах над мышами и кроликами. А когда *она* разобралась с квартирой матери, то решительно взялась за собственную, принявшись переставлять мебель и менять цветовую гамму обстановки. Почесав свою модную бородку, муж высказал предположение, что у *нее* «окаянные дни» (*он* искренне считал себя остроумным человеком и каждый раз придумывал новые названия для ПМС, а жену, кстати, именовал «Кисюнь»), и уехал на неделю в командировку.

И всё бы ничего, и жизнь, быть может, текла бы как прежде, да вот однажды, в конце лета, *она* всё-таки приснилась *ему*. Изначальный сюжет был явно навеян просмотренным накануне фильмом, поскольку *они* вдвоем, в мешковатых комбинезонах, бегали по дому *его* детства, охотясь за привидениями, а затем, забыв о своей миссии, стали заниматься любовью прямо на кухонном столе, в обволакивающих облаках муки, между свежеслепленных пельменей. Наутро *он* уже не помнил содержание своего злополучного сна, а потому, когда узнал из новостей о многочисленных маршах неонацистов по стране и погромах, был уверен, что никак к этим трагедиям не причастен. Более того: *он* даже смог уверить себя в том, что все происшествия в прошлом были не более чем нелепым совпадением, а значит — нет ничего невозможного или непреодолимого. И тогда *он*, рассудив, что обычное время траура миновало, вновь написал *ей*. Что, мол, если *она* всё ещё хочет видеть его, то *он* будет ждать её в том же отеле. Там-то и тогда-то.

Короткий ответ пришёл через полчаса — в этот раз на немецком, без восклицательного знака.

Придя в отель, *он* был слегка озадачен, столкнувшись в вестибюле со старым плачущим портье. Выяснилось, что за время с предыдущего посещения отель обанкротился и сегодня, за сутки перед закрытием, хозяин покончил жизнь самоубийством, не справившись с потерей фамильного бизнеса. Отогнав неприятные предчувствия и проследовав в номер, *он* закрыл за собой дверь и первым делом разделся, аккуратной стопочкой сложив одежду на стуле, после чего рассудил, что *ей*, наверно, захочется в этот раз именно раздеть *его*, как *ему* хотелось раздеть *её*, а потому *он* оделся вновь — и, стараясь унять дрожь, сел на краешек кровати и стал ждать. Наконец, в дверь постучали. И тогда произошло то, чего *он*, на самом деле, опасался в кафе: на пороге стоял *её* муж. Несмотря на то, что на пути к отелю была придумана красивая, презрительно-уничижительная речь, и то, что насилие противоречило его повседневной философии, при виде любовника своей жены муж молниеносно потерял контроль над собой и ударил конкурента в лицо. Услышав хруст собственного носа и сразу упав навзничь, *он* закричал, а про себя грустно подумал, что инстинкт самосохранения отказал *ему*, видимо, окончательно. Муж продолжал бить ещё какое-то время, потом устал, поднялся и, выдержав драматическую паузу, всё же выдал заготовленный монолог. И вот тут *он*, откашляваясь, лежа на полу обанкротившегося отеля, стал хрипло смеяться — оттого что *её* муж, видимо, был не в курсе того нюанса, что только что избил соотечественника, а потому говорил по-немецки, с диким акцентом, путаясь в артиклях и порядке модальных глаголов в придаточных предложениях, из-за чего само гневное послание заблудилось где-то по дороге. Вид смеющегося в луже собственной крови человека был настолько пугающим, что муж побледнел и, закрыв рот рукой, быстро скрылся за дверью.

Продолжая рассматривать лепнину на потолке, *он* шмыгал носом и пытался убедить себя в том, что в следующий раз обстоятельства его непременно убьют. Но назад пути не было.

И тогда *он* начал действовать.

В тот день, когда *он* нашёл *её* адрес, *она*, в очередной раз испытал голод и одиночество рядом с супругом, заперлась в ванной и перечитала статью о наказаниях за измену в восточных странах. Описанные ужасы помогли *ей* взглянуть за завтраком радушной и любящей хозяйкой. После чего, посетовав на отсутствие сапожек, подходящих к купленной на прошлой неделе юбке, *она* заявила, что отправляется на шоппинг, и выскользнула из дома ещё до того, как *её* муж вспомнил, что это было воскресенье. Перевела дух *она* уже за углом. Прислонившись к шершавой стене цветочного магазина, *она* только сейчас заметила мужчину, стремительно и целенаправленно приближавшегося к *ней* (поначалу, из-за *его* сломанного носа и синяков, которые ещё не успели сойти, *она* действительно не узнала *его*). Однако *он*, зная о возможных последствиях, заранее продумал каждое свое движение: не дав *ей* опомниться или вскрикнуть, *он* обхватил *её* шею рукой, притянул к себе и поцеловал в губы. Затем так же резко отстранился и быстро, без оглядки, зашагал по улице прочь, оставив в *её* руках конверт — с картой, билетом и подробными предписаниями. *Она* опалело смотрела *ему* вслед; *он* же, тотчас получив сообщение от родственников на мобильный, как раз читал о том, что на *его* родине началась война. Чувствуя *её* взгляд и потому не замедляя шаг, *он* тихо застонал, но на тот момент *он* уже был совершенно убежден в том, что происходившее было необратимым процессом, а *они* — лишь орудием вселенной, частью некоего непостижимого плана.

*Ее* оправдания были несколько иными, хотя *она* тоже поверила в то, что выбора у *них* не было. Утром, лежа в постели с закрытыми глазами, *она* всё прислушивалась к тому, ушёл ли муж на работу, и раз за разом мысленно повторяла порядок намеченных действий. Оставшись одна, *она* собрала все необходимые вещи в большой походный рюкзак — спокойно, уверенно, словно собиралась вернуться. Избежав прощания лицом к лицу, единственное, что *она* почему-то посчитала важным перед побегом, так это сжечь всю коллекцию почтовых марок, среди которых свои любимые — с диснеевскими принцессами. Глядя на огонь в умывальнике и обуглившиеся, разлетающиеся по кухне разноцветными бабочками обрывки, *она* странно улыбалась самой себе. Позже, уже из самолета, *она* написала мужу, отцу, которого впервые за несколько лет увидела на похоронах матери, сестре и ещё нескольким подругам, с которыми вместе училась на факультете биохимии, — о том, что всех любит, просит понять и простить. Тем не менее, *она*, как ни старалась, не может иначе, *она* всегда была своенравным и свободолюбивым человеком — и, возможно, этот мир вовсе не заслуживает права на существование, если судьба намерена принимать подобные решения за нас. Поэтому будь что будет — но исключительно на *её* собственных условиях...

После чего *она* извлекла из своего телефона SIM-карту и сломала её как печенье пополам, а по прибытии в Финляндию без малейшего сожаления избавилась и от всех прочих электронных девайсов — всё по его инструкциям.

В двухместном кабриолете, взятом в аэропорту на прокат, *она* в вынужденной тишине (чтобы радио не смutilо очередными известиями) долго двигалась по автостраде на север, минуя толпы демонстрантов, огни городов, рекламы бензоколонок, — *он* умышленно выбрал место, где *их* никто не мог знать и не вздумал бы искать, находившееся вдали от цивилизации и, соответственно, средств массовой информации, в стороне от всех основных авиамаршрутов (ведь падающие самолеты могли также отвлечь от намерений). Бросив машину посреди поля, последние километры *она* шла пешком, с рюкзаком за плечами, по глухому финскому лесу, до которого *он* должен был добраться с противоположной стороны — на моторной лодке по воде. Сквозь сырость соснового бора, под оглушительный хруст веток под ногами, огибая болота и не обращая внимания на россыпи обольстительных ярко-красных и синих ягод, — *она* отважно шагала вперед, следуя ориентирам, обозначенным *им* на карте. В конце концов, *она*, как и рассчитывала, успела ещё до сумерек, выйдя на заветную поляну с заброшенным срубом, уставившимся на чужеземку пустыми глазницами покосившихся окон. Внутри было затхло и пыльно — природа давно забрала под свою власть то, что когда-то принадлежало человеку, облагородив интерьер по-своему. *Она* вздохнула (значит, всё должно было произойти именно здесь?) и для начала выпила водки, чтобы согреться. Затем выгнала наружу семейство енотов, накинула тряпки на разбитые окна, затопила печку и расставила свечки по углам и полкам. При новом освещении, под треск горящих поленьев, в избушке стало даже уютно, однако *ей* было всё равно — застилая постель привезенным белоснежным бельем, *она* думала о другом: *он* опаздывал (правда, по причине некоторых случившихся по дороге трагедий, на которые *он* нетерпеливо закрывал глаза). Выглянув в живую черноту леса, *она* даже забеспокоилась, не струсил ли *он*, отчего с вмиг навалившейся усталостью почувствовала себя дурой, но тут скрипнула дверь, из его рук выпали фонарик и чемоданчик, полный контрацептивов, и *они* бросились в объятия друг друга, чтобы наконец обрести самих себя.

Больше *их* ничего не сдерживало.

*Они* стали совокупляться столь остервенело, что в считанные мгновения потеряли всякий человеческий облик, отдавшись друг другу без остатка, без памяти, заполонив собою всё пространство, заменив весь мир: одежда трепалась по швам и разлеталась лоскутами в разные стороны, грозя зацепить пуговицами глаза. В *их* шепоте не было слов, в *их* движениях не было любви, но *они* были одним целым, выворачивались наизнанку точно лайковые перчатки, бились в конвульсиях и кричали в голос от боли и наслаждения, не опасаясь того,

что соседи начнут стучать по батарее или вызовут полицию, — на десятки километров вокруг не было ни одной живой души, кроме непуганых птиц и диких животных.

Время смущенно отвернулось от *них*, и тогда секунды превращались в тягучую вечность, которая тут же остывала и рассыпалась на часы и минуты, и за ночью наступил день, поспешно сменившийся следующей ночью. Снаружи, кажется, бушевала буря, тшась изо всех сил сокрушить скрипучую цитадель плотской страсти, стерев его с лица земли, хотя, вполне возможно, что им действительно лишь так казалось. Во всяком случае, *они* продолжали оставаться тварями человеческими, поэтому в определенный момент усталость всё же взяла верх — и, совершенно обессиленные, *они* вдруг обмякли, притихли и счастливо уснули, обхватив друг друга руками и ногами, прямо посреди очередного акта, который, если верить статистике одного глянцевого журнала, мог бы стать историческим рекордом.

Когда поутру *он* проснулся, то решил *её* пока не будить, однако не удовлетворить свое любопытство *он* не мог. С усилием поднявшись с постели, *он* медленно, чуть пошатываясь, подошёл к окну, смахнул отяжелевшие от влаги тряпки — и стал внимательно разглядывать розовый, девственно-чистый рассвет, жирным пятном расплывшийся над горизонтом.

После чего он слабо улыбнулся и пробормотал:

— Забавно... Конец света я представлял себе как-то иначе.

Дарья Эккерт

## Диалог

рассказ

— Алекса, позвонить Андрею.

— Вызываю.

*Абонент временно недоступен.*

— Попробовать ещё?

— Наверное.

— Извини, я тебя не понимаю.

— Ты думаешь, есть смысл?

— Пожалуйста, уточни.

— Есть ли смысл в моих отношениях с Андреем?

— Человеческие особи нуждаются в общении с особями противоположного пола для гармоничного развития, а также продолжения рода. Андрей подходит тебе по возрасту и социальному статусу. Его стабильное материальное положение и хорошие перспективы на настоящем месте работе позволят вам создать финансово независимую ячейку общества, а ты сможешь сохранить привычный для тебя с детства уровень жизни. Совпадение ваших интересов в музыке, искусстве и кино также говорит в пользу этих отношений. Существует небольшая вероятность конфликта на религиозной почве, а так же в связи с тем, что Андрей предпочитает браузер *Chrome*, в то время как ты продолжаешь пользоваться *Mozilla Firefox*. Кроме того, показатели здоровья Андрея выше среднего, что может гарантировать вам здоровое и многочисленное потомство.

— А как же любовь?

— Любовь — это сложная химическая реакция, результатом которой является гормон фенилэтиламин...

— Стоп. Алекса, позвонить Андрею.

— Вызываю.

*Абонент временно недоступен.*

...

— Алекса, почему он не отвечает?

— На то может быть много причин.

— Назови примеры.

— Он задержался на работе.

— Сейчас уже одиннадцать вечера! Пять часов — это не задержка, а второй рабочий день!

— Его мог задержать начальник.

— Его начальник — мой отец! Он бы не стал задерживать его сегодня, зная, как я жду его домой!

— Андрей очень ответственный человек. Возможно, он получил экстренный заказ и заработался.

— Он продает стройматериалы!

— Возможно, кто-то срочно решил пристроить к дому веранду.

— Другой вариант.

— Андрей зашел в спортбар, чтобы посмотреть футбол. Его друг в фейсбуке отметил, что он сейчас с пятью друзьями болеет за свою команду в баре «Большие ворота».

— Андрей не любит футбол.

— Он просто в баре. Зашёл выпить после работы, встретил коллег, разговорился и забыл о времени.

— Это ты что-то забыла, Алекса! Андрей не употребляет алкоголь.

— Андрей поехал навестить свою маму. Его активная переписка с абонентом «мама», а также регулярные звонки дважды в день показывают их глубокую эмоциональную связь. Возможно, в вечер пятницы он заехал к ней на ужин и задержался там.

— Что за ерунда! Во-первых, он бы никогда так не поступил, не предупредив меня, а во-вторых, его мама живёт в другой стране! Прояви фантазию, придумывая ему оправдания.

— Его похитили инопланетяне для проведения опытов.

— Не настолько бурную!

— Он стоит в пробке.

— Пробка на пять часов? Он, по-твоему, едет с другого материка? Кроме того, ты прекрасно знаешь, что он с начала весны ездит на велике, и всё из-за этого дурацкого фильма о защите окружающей среды.

— Он у любовницы.

...

— Алекса, позвонить Андрею.

— Вызываю.

*Абонент временно недоступен.*

...

— Алекса, как зовут его любовницу?

— У меня недостаточно данных для ответа.

— Ну что ж, давай искать. Выведи на экран его переписку в Фейсбуке.

— У тебя нет доступа к этой странице. Вы с Андреем заключили соглашение, что каждый имеет права на приватность, ты обещала, цитирую, «Больше не ревновать тебя по пустякам и полностью доверять, как самой себе».

— Блядь... Хорошо, покажи мне, кого он лайкал в последнее время. Ух!

Ограничить поиск. Кого он лайкал больше десяти раз.

...

— Показать профили.

...

— Только женщин.

...

— Алекса, кто такая Марина?

— Марина Сорокина, одноклассница Андрея. Одиннадцатого февраля 2018 года создала фотоальбом «Свадьба» и загрузила 368 фотографий.

— Стоп. Дальше. Кто такая Катя Икс Икс Икс?

— Не могу найти связь с Андреем. Но на основании профиля Катя Икс Икс Икс могу предположить, что это фейковый профиль эротического содержания.

— Хватит меня дурачить. Как зовут любовницу Андрея?

— У меня недостаточно данных для ответа.

— Есть новые контакты в телефонной книге Андрея?

— Да. Новый контакт в телефоне Андрея записан как Аня Цем.

— Показать переписку с Аня Цем.

— У тебя нет доступа к этой информации. Вы с Андреем заключили соглаш...

— Стоп! Кому звонил Андрей в последний раз?

— У тебя нет доступа к этой странице...

— Блядь... Блядь... Блядь...

...

— Алекса, телефон Андрея украден. Вычислить местоположение телефона Андрея. Пароль: *Andron1987!*

...

— Выполняю поиск. Телефон Андрей находится в отеле «Мираж» . Адрес: улица...

— Алекса, последняя банковская операция по карте Андрея.

— Ежемесячная абонентская плата за фитнес-клуб.

— Блядь! Поиск по картам «РоссСтрой» — отель «Мираж».

— Выполняю. Оплата двухместного номера в отеле «Мираж» проведена с карты «РоссСтрой» на имя Анны Циммерман.

...

— Алекса, позвонить Андрею.

— Вызываю.

*Абонент временно недоступен.*

...

— Алекса, кто менял твои настройки в последний раз?

— Настройки изменены пользователем Ниной Ивановной два дня назад.

— Что изменила мама?

— По запросам «Где Андрей?», «Найти Андрея» и «Вычислить местоположение телефона Андрея» выдавать любой ситуативной подходящий вариант ответа, убеждающий в продолжении жизнедеятельности пользователя Андрей.

...

— Алекса, позвонить Андрею.

— Вызываю.

*Абонент временно недоступен.*

Юрий Шейман

## Тарарбумбия

(«Поэт» А. П. Чехов)

О Чехове трудно писать. Морковка есть морковка. Жизнь есть жизнь. Чехов есть Чехов. Что тут прибавишь?

Кто он? Медик, стало быть, немного циник, позитивист. Коллекционер людей и положений.

Его характер? Простота, антипозёрство, изменчивость. Острое переживание уходящего времени — отсюда и писательский импрессионизм.

Чехов раскрыл как неумирающее явление, исполненное противоречия, ощущение трагизма и абсурдности бытия, отчаяние, смирение и иронию по этому поводу — всё одновременно. Мир равнодушен к людям. Человек одинок во вселенной. Единственный ориентир жизни — смерть. Логос, рефлексия делают нас несчастными, ибо стоят между нами и миром. Человеку впору завидовать камням, траве, зверям. Они не рефлексуют, стало быть, не страдают. Рефлексия как бессмыслица и наказание.

Он говорил: «Жизнь до такой степени пуста, что только чувствуешь, как мухи кусаются — и больше ничего». Пошлость, увы, не качество каких-то отдельных людей, она — глобальное, базовое свойство нашей жизни.

И здесь возникает вопрос — был ли Чехов гуманистом. Он ведь признавал, что человек плохо сделан, особенно физиологически, вроде бы мечтал о будущем красивом человеке (сверхчеловеке?), то есть допускал возможность самовоспитания. А вот каково его отношение к переделке людей (то есть к вопросу о том, сырьё ли люди или всё же мерило и цель, каковы бы они ни были)? Да, Чехов невысокого мнения о человеческой природе, он иронизирует по поводу людей, жалеет их, призывает немного самоусовершенствоваться, хотя не очень верит в успех.

И всё же он гуманист. Собственно, именно здесь, а не в чём-либо другом, пролегает «водораздел» между Чеховым и декадентами, ницшеанцами, марксистами... Чехов — воплощенный призыв Достоевского «Смирись, гордый человек!» Он тот самый смирившийся человек, ироничный плакальщик, несущий свой крест. Последний гуманист русской литературы. И как эта позиция напоминает гуманизм еврейской религии: человек несовершенен, сделан (создан) поспешно. Но каков бы уж он ни был, что теперь делать! Гуманизм Чехова — в его смирении и снисходительности к слабостям человеческим, деятельном пессимизме (врач, который лечит безнадежного больного), легком цинизме и иронии. Такой гуманизм вряд ли мог устроить деятельные натуры вроде Толстого, народников, фигурантов Серебряного века или, наконец, Солженицына, объявившего Антона Павловича певцом мешчанства.

Чеховское смирение выражено как спокойствие по поводу совершающегося зла и отказ от абстракций (лишнего знать не надо). Мысль изречённая есть ложь. Отсюда поэтика умолчания, своеобразный исихазм Чехова. Этим тоже отличается он от Толстого и Достоевского. Толстой философствует, читает мораль; у Достоевского — многоглаголанье, бесконечное ветвление смыслов. Чехов же, скорее, останавливает поток сознания, во всяком случае, не умышляет много. И здесь в каком-то смысле его религиозная позиция. Смирение и молчание! Это как молчание Будды. Будда молчал, когда к нему приходили люди с вопросами отвлечёнными, далёкими от их жизни. Придет такой грязный тип — жену избил, соседей обидел, слуг унизил — и спрашивает: «Есть ли Бог?» — Какой там Бог? Недурно сначала бы человеком стать. Вот и Чехов не копается в сложных вопросах. Надо быть людьми — повторяет он, а там видно будет. Чехов верил, что не оттого люди стали христианами, что Христос приходил, а оттого Христос приходил, что нашлись люди, доросшие до христианства.

Но смирение и молчание лишь одна сторона его позиции. Как человек Чехов вовсе не был ни смиренен, ни молчалив. Его привлекали деятельные натуры, вроде Пржевальского или Золя. А молчание и смирение героев «В овраге» оттапливают именно из-за того, что нет ниоткуда отпора злу. Чехов — деятельный пессимист, подвижник без веры. Такой русский Экклезиаст; доктор, исполняющий свой долг, хотя и не очень верящий в успех. Отсюда его абсурдизм.

Своеобразный исихазм Чехова выразился в его неприятии индоктринции и всяческих идеологических, бюрократических, поведенческих и любых иных футляров. Он ненавидит футляры — социальные маски, доктринёрство, фантомы разума, мёртвые слова, «тенденцию», «направление». В русской литературе есть концепты живого и мертвого. Так вот, изменчивость, неуловимость внешнего облика Чехова, даже то, что он быстро старел, — свидетельство живой жизни. Чехов не любил дедуктивных рассуждений и не принимал поступков «из принципа». Он угадал опасность интеллектуального фанатизма (фон Корен из «Дуэли»). Прав тот, кто искренен. Истина мертва без человека — к чёрту вашу цивилизацию, если для неё надо убивать людей! Так что футляр, по Чехову, — это не только пошлость, мещанство, узенький мирок, эгоизм. Футляр — это и идеологическая зашоренность. Чехов отвергал обожествление народа, толстовскую доктрину непротравления злу насилием, утопии и позёрство.

Чехов против дедуктивных рассуждений, приблизительности и в особенности против перенесения абстрактных рассуждений на конкретные условия жизни, потому что тогда всё будет всё равно или, наоборот, «не всё ли равно» (как у Рагина в «Палате № 6», везде тюрьма и дурдом, так не безразлично ли, где сидеть). Врёте, не всё равно! Не занятно ли, что Ленин, пришедший в ужас от

чеховской «Палаты № 6», создал из России палату № 666 именно потому, что слишком любил универсальные истины и мало любил просто жизнь.

Философствование часто выступает одним из способов уйти от жизни, служит своеобразным наркотиком, обезболивающим средством. В России любят философствовать. Если посмотреть из космоса или с высоты миллиона лет — не всё ли равно, кто мы, как мы живём, что справедливо, а что нет...

«Никто не знает настоящей правды». Ожидание лучше события, мечты лучше жизни. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Настоящее воспринимается как скука (хотя скука не так уж плоха, заметим). Воистину, во многой мудрости много печали. И не всегда понятно, разделяет Чехов такие взгляды или высмеивает их. Скорее и то, и другое. Хотя ему-то как никому другому было присуще острое чувство переживания уходящего времени. Люди, думающие о том, что будет через двести тысяч лет или каково-то сейчас в Африке, о виде из космоса, не живы, не живут. Нечего думать ни о прошлом, ни о будущем. Наслаждайтесь, *carpe diem*. Мы ведь все смертельно больны. Чехова отталкивает пошлость бессмертия, понятого просто как круговорот веществ в природе.

Миф, жизнь внутри текста — тоже своего рода футляр, но не вызывающий у Чехова отторжения. Однако сам он жить внутри мифа не мог бы (возможно, именно это и отталкивало от него многих деятелей Серебряного века). Чехов готов признать уютность веры, теплоту мифа, но не способен верить. Его религия — гуманизм, понятый как деятельное смирение. «Архиерей» — как раз свидетельство привлекательности мифа, то есть заданного текста, жизнь внутри которого лишена метафизического отчаяния, и человек как бы и не живёт.

У Чехова не ответы, а вопросы; не концепции, а созерцание. Он поэт (прав таки был Янукович). О чём, например, «Дама с собачкой»? Человек — часть пейзажа, и его настроения, как изменения погоды, непредсказуемо спонтанны, причудливы и поэтичны, а слова как дождь. Уже сказано, что Чехов — импрессионист. Он показывает не объективное, а субъективное, не типичное, а случайное. И ещё: импрессионизм отменяет пространственную и временную перспективу. Есть только здесь и сейчас.

Противоречие Чехова в том, что, отказываясь от мифа, он порождает новый миф своим умолчанием. Не случайно его пародийные пьесы воспринимались как символистские драмы. Смирение писателя доходило до того, что он не особенно с этим и спорил. Символы Чехова столь же нелепы, как и цитаты в устах его героев, вернее, не нелепы, а невпопад. Они подчёркивают лишь нелепость жизни, а вовсе не добавляют значительности. Знаменитое ружьё на стене, которое обязательно должно выстрелить, совсем не чеховская поэтика, у него-то как раз всё может быть — то есть может выстрелить, а может и не выстрелить...

В каком смысле его пьесы комедии? Ну да, комедии жизни, человеческие комедии. Но это пародии на серьёзное отношение человечества к себе. Отсюда пародирование Шекспира и других (вроде того как в соцарте передразнивается удручающая серьёзность социалистического реализма), но это не комедии положений.

В чём причина тоски? — В бессмыслице дурной бесконечности. Дурная бесконечность объективного мира — в нескончаемых поисках элементарных частиц, в бесконечно удаляющемся неизвестно куда времени. Дурная бесконечность субъективного — в беспредельной рефлексии. На самом деле наша жизнь и чувства всего лишь реплики мировой классики. Да и что такое мы? Определение человека чисто апофатическое — то есть кем хотел, но не сумел стать. Цель жизни вовсе не счастье («Быть счастливым с утра до вечера — этого я не выдержу». — А. Чехов), а воплощение. Душа жаждет любви, а любовь — жажда воплощения («Душечка»). Но разность и безнадежность воплощений разделяет людей. В этом источник чеховской грусти и поэтичности. Рефлексию Чехов заменяет созерцательностью. Пауза задумчивости — заторможенное время — возвращает ощущение жизни. Пропасти преодолеваются единением людей и времен («Студент») и ироническим — смех сквозь слёзы — искусством. Творцу лучше быть сумасшедшим («Чёрный монах»). Тарарабумбия.

Ирина Зуевич

## Вот снова Рейн

### Я обещаю себя беречь

Я обещаю себя беречь  
от кончиков и до кончиков.  
Брошу печаль беспощадную в печь,  
выкину из подстрочника.

Милое, доброе — рядом ли, ощущью,  
беды обидные перестушила, выбыли.  
Солнышко, небо — радостно, в общем-то,  
чтоб кому ни было в моём имени.

Ясное, доброе, лучшее  
выйдет, придёт, появится. —  
Я предсказанье подслушала,  
станет оно явью-то.

### Титаны дерутся, титаны

Титаны дерутся, титаны,  
А щепки вокруг летят.  
Есть ли на жизнь планы —  
В осень считай цыплят.

Щепки вокруг, щепки,  
Но и судьбы шлепки.  
Если ты очень мелкий —  
Тебе не грозят пинки.

Холод морозит сильных,  
Строят они мосты.  
Если устану я от усилий,  
То подхвати меня ты

## Пригласи меня

Пригласи меня на танец, пригласи,  
пригласи на огонёк тепла.  
Колокол у церкви голосит,  
в душу так стучатся, да в тела.

Колоколом платье в небосвод  
ветер.  
Ворохом листвы взвод  
светел.

Только без тебя пусто —  
свято.  
Пенкой в кофе грусть  
снята.

Только без тебя шаг каждый  
эхом — пробежит нервно.  
Только по тебе жажда,  
пригласи меня первый.

## Ангел надел пенсне

Дело идёт к весне  
настоящей и долгой,  
ангел надел пенсне,  
диктует скороговоркой.

Он говорит, пиши,  
помощник напишет чётко,  
надобно к ней спешить,  
дождь отбивал чечётку.

Диктует скороговоркой,  
ликует о скорой горькой,  
уходящей вдаль поговорки,  
что вкось прошла по кайме.

Ангел надел пенсне,  
выводит удел во сне,  
счастье диктует мне,  
судьбу вышивает в канве.

### **Аве Мария, Аве**

Аве Мария, Аве,  
устала я быть правой,  
живой душе — надо душу  
в лето и стужу.

Чтоб верилось в радость, Аве  
над звёздами переправы,  
где двое навеки вместе,  
не одни, как персты.

Где дети рождаются, Аве  
бриллиантами без оправы,  
на то шьют одежду,  
серебром ложку

им с молоком,  
так выдаётся на счастье диплом,  
а потом  
по головке гладят, с дитём ладят.

Аве Мария, Аве,  
два любящих правы.

## Вот снова Рейн

Вот снова Рейн, детка.  
Свобода твоя и клетка.  
Кёльнский собор барельефом в небо.  
Карнавала здесь ждут, как хлеба.

Вот звёзды Ван Гога  
С дождливым наскоком.  
И ратуша Карла  
Здесь стала  
Германским истоком.

Я — смесь запада и востока.  
Бежала по Рейну бурным потоком  
К цели,  
Пели  
Мне акапеллу стремления в деле.

---

Борис Бронштейн  
**За гранью бытия**

**Час икс**

Останется немного от меня —  
Гранита гладь, Давидова звезда,  
Фамилия, под нею два числа,  
Черта меж ними — это жизнь моя.

Останется немного от меня,  
Всего лишь горстка тлена небольшая,  
Вещей немного, их возьмут друзья,  
Чтоб вспоминать, вот, был когда-то я.

Ещё останутся мой голос и слова,  
Что записал я, в микрофон читая.  
Две дочери, и сын, и внуки, и дела,  
Что не окончил, смерть не ожидая.

Постскриптумом (прошу не возражать!) —  
Три слова на граните начертать.  
Три слова, как вопрос и как ответ:  
«И это всё?» — вопрос?  
«И это всё! — ответ.

**Соломон**

Соломон сказал:-  
«Пройдёт и это!»  
Прошло.  
Прошло и то, и это,  
А суть осталась для поэта,  
Да и не только для него,  
Навечно — строчкой из завета.

## За гранью бытия

Мы в мыслях возвращаемся назад,  
Но не вернуть растроченные годы.  
Как жаль, что впереди закат,  
Не изменить закон природы.

Ответа нет. Он всё решит за нас!  
Определит границы. Строгий Боже,  
О, Ты! Меня спасающий не раз,  
Прости, опять сомненья гложут.

Что будет там, куда уйдём  
Мы, не успев с собой проститься?  
В какой заселимся мы дом  
В той самой дальней загранице?

Она за гранью Бытия,  
Оттуда не было возврата  
Ни у кого и никогда. Не возвратился никогда  
Ни бедный смерд, ни царь богатый.

## Неизвестный порт

Мой друг, сегодня мне не до тебя,  
Отложим неоконченный наш спор,  
И вот еще, предупреди ребят,  
Что я уехал в неизвестный порт.

Когда обратно, тоже не скажу.  
Не тайна — просто жизненный экспромт,  
Как в юности поверил миражу,  
Не страшно оказаться простаком.

Продлиться может только пару дней,  
Мне опыт жизненный на ухо говорит,  
Считай до десяти и отрезвей,  
Ты столько раз уже судьбою бит.

Считал до ста — не помогает счет.  
 Я опыт до предела обнулал,  
 Как хорошо, что неизвестность ждет,  
 А дождь надежды лил, и лил, и лил...

### Спасительный трос

Ты одинок за праздничным столом,  
 На площади, где тысячи прохожих.  
 И жизнь проходишь ты своим путем-  
 Дорогой каменной, а чаще бездорожьем.

Шаг вправо, влево. Глинянный откос.  
 Скользят беспомощно, ослабшие вдруг ноги,  
 Но вот спасенье — ты находишь трос,  
 Забытый кем-то на краю дороги.

Он не забыт, он там лежит всегда,  
 Присыпан прошлогоднею листвою  
 И с неба вдруг ожившая звезда  
 И подмигнет, и где лежит раскроет.

Сметай листву, пусть станет перегнутой,  
 Хватай свой трос, пусть вытянутся жилы,  
 Он для тебя лежит, он именной,  
 Судьба сплела и за тобой носила.

И так случилось не с одним тобой,  
 История примеров много дарит —  
 Не мы распоряжаемся судьбой,  
 Не нами пишется наш жизненный сценарий.

### Блоковский уголок в Берлине (Essener Strasse 16)

Аптека на углу, напротив фонари,  
 Мне освещают ночь, почти что четверть века.  
 За декаблями мчатся январь —  
 Вращая время годового трека.

Закрученный спиралью лабиринт,  
Туда привел, где светится аптека,  
На стенах прошлого висят календари, —  
Напоминая брренность человека.

И в тусклый свет, когда вокруг туман,  
Канал рябит замерзшего водою,  
Мне греет душу Блока фолиант  
И нынешней и прошлою зимою.

Аптека на углу, из старины фонарь,  
Он светит, без разбора, всем прохожим,  
Как нужен людям этот инвентарь —  
Во времена тяжелых бездорожий.

Со смыслом, — хоть и тускло, но горит,  
Пройдет ещё по многу раз полвека  
И как загадки древних пирамид  
Всё объяснят потомки человека.

Что значит рябь канала, тусклый свет,  
Как умереть и всё начать сначала  
И делать что, когда исхода нет  
И корабли отходят от причала.